ЖИЗНЕОПИСАНИЯ

Филипп Соллерс

КАЗАНОВА
Великолепный

Издательство «КоЛибри»

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Дипломат, игрок, шарлатан, светский авантюрист и любимец женщин, Казанова не сходит со сцены уже три столетия. Роль Казановы сыграли десятки известных артистов — от звезды русского немого кино Ивана Мозжухина до Марчелло Мастроянни. О нем пишут пьесы и стихи, называют его именем клубничные пирожные, туалетную воду и мягкую мебель. Миф о Казанове, однако, вытеснил из кадра Казанову подлинного — блестящего писателя, переводчика Гомера, собеседника Вольтера и Екатерины II. Рассказывая захватывающую, полную невероятных перипетий жизнь Казановы, Филипп Соллерс возвращает своему герою его истинный масштаб: этот внешне легкомысленный персонаж, который и по сей день раздражает ревнителей официальной морали, был, оказывается, одной из ключевых фигур своего времени. Великий насмешник и соблазнитель, лихой любовник и государственный ум, Казанова восстанавливает в правах человеческую природу.

- Филипп Соллерс
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22

- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57

Филипп Соллерс
Казанова Великолепный

Я позабавился вволю — что было, того не отнимешь.

Казанова

Я был прав в своем высокомерии: вот почему теперь я спасаюсь бегством.

Спасаюсь бегством. Но перед тем объяснюсь.

Рембо[1]

Мы воображаем, что знаем Казанову. Мы ошибаемся. Открываю энциклопедический словарь, читаю:

> «Казанова де Сейнгальт (Джакомо), авантюрист, родившийся в Венеции (1725–1798); известен своими похождениями, романтическими (в частности, побегом из венецианской тюрьмы Пьомби) и галантными, о которых он рассказал в своих „Мемуарах“».

Казанова и вправду родился в Венеции в начале XVIII века, он неотделим от великого мифа этого города, но умер он в возрасте семидесяти трех лет вдали от него, в Дуксе (ныне Духцов) в Богемии. *Почему?*

«Мемуары» Казановы на самом деле называются «История моей жизни». Огромный том до отказа напичкан приключениями, связанными с карточной игрой, с путешествиями, с магией и сексом, но очень немногие знают, что «Мемуары» написаны были *по-французски*, потом их опубликовали на немецком, а потом заново перевели на французский в варианте, более «благонравном», чем оригинал. Лишь в начале шестидесятых годов XX века стало возможным наконец прочитать то, что Казанова в действительности написал собственной рукой (но в эту пору публикацией заинтересовалась лишь горстка специалистов и любителей). И только в 1993 году в трех томах, доступных для всех, вышел наконец этот главный труд Казановы, а также некоторые другие его произведения.

С этого и начнем: публикация оригинальной версии записок

состоялась с опозданием на много лет, и первоначально им дали другое название. *Почему?*

Почему решили забыть, что Казанова был также *писателем*? И в какой мере это упорство в невежестве позволяет разоблачить двухвековое беспощадное вытеснение и происки цензуры?

Сейнгальт (Seingalt) — это псевдоним, который Казанова придумал и добавил к своему имени в 1760 году, во время пребывания в Цюрихе. Он называет себя шевалье де Сейнгальт, облагораживая таким образом свою подпись. Задумаемся над значением слова *seing*[2] — похоже, Казанова хотел подчеркнуть, что подпись старинная, высокородная *(alt)*. Не исключено, что Стендаль (который в своем «Дневнике» называет Казанову *Novacasa*[3]*)* вспомнил об этом поступке Казановы, когда выбирал себе литературный псевдоним. На французский «Казанова» переводится как Мэзоннёв, то есть «Новый дом» — стало быть, Жак Мэзоннёв. Излишне говорить, что перед нами антипод Жан-Жака Руссо. Век Казановы — это век Вольтера и Моцарта (но также и де Сада). Кстати сказать, Моцарт, Да Понте и Казанова встречались в Праге в 1787 году (Казанова приехал туда по-соседски, из Дукса) в связи с постановкой «Дон Жуана». Эту встречу никто никогда, по сути, не пытался представить себе. *Почему?*

До нас дошли два автографа Казановы. Изучение двух рукописных листков показывает, что это черновик взаимозаменяемых вариантов десятой сцены второго акта оперы. Автор, сделавший это открытие, пишет:

> «Немногие из реальных, а не мифологических персонажей были в той же мере, что Казанова, людьми мгновения, сиюминутности. А также людьми „списка“… Мы имеем право предположить, что той богемской осенью 1787 года, слушая, как поют: *Un catalogo gli e che ho fatt'io*[4], — старый искатель приключений мог подумать о том, что пора ему составить свой собственный донжуанский список. А в таком случае „Дон Жуан“ немало содействовал созданию „Истории моей жизни“, которая (хотя, конечно, ее значение этим далеко не исчерпывается), несомненно, является бессмертным „catalogo“[5] Джакомо Казановы».

Итак, в сентябре 1787 года Моцарт находится в Праге в гостинице «У трех львов», Лоренцо Да Понте — в гостинице «Платензее». Оба заведения расположены так близко друг от друга, что композитор и его либреттист могут переговариваться через окно. Приезжает Казанова. В эту пору он собирается издать

толстый фантастический роман.

Но истинный фантастический роман — это встреча названных трех человек. Казанова знаком с Да Понте еще со времени своего пребывания в Вене, тому два года, когда он был секретарем венецианского посла (Да Понте он не любит). Вполне вероятно, что он встретился с Моцартом. Существенно отметить, что все трое — франкмасоны.

Итак, однажды вечером на вилле «Бертрамка»[6] Казанова рассказывает Моцарту о своем побеге из венецианской тюрьмы Пьомби. Составляют дружеский заговор: композитора запирают в его комнате; освободят его не раньше, чем он закончит увертюру к своей опере, она уже сложилась в его голове, но он все откладывал нотную запись.

Видим ли мы все это?

И видим ли мы, как потрясающе интересно то, что писать историю своей жизни Казанова начал *летом 1789 года?*

Итак, в музыке: Вивальди и Моцарт. В живописи: Фрагонар, Тьеполо, Гварди. Города: Венеция, Рим, Париж, Вена, Прага, Санкт-Петербург, Берлин, Лондон, Неаполь, Константинополь, Кёльн, Амстердам, Штутгарт, Мюнхен, Цюрих, Женева, Берн, Базель, Вена, снова Париж, Мадрид.

Мы в великой Европе эпохи Просвещения, той Европе, чья могучая и смутная сила вводила, да и сегодня вводит нас в соблазн.

Излишне говорить, что центр этой меняющейся геометрии — Венеция. Все исходит оттуда, все туда возвращается. Пусть Казанова умер в изгнании в Чехословакии. Но когда он пишет, это пишет венецианец.

По-французски.

Казанову не хотели признавать писателем (и скажем напрямик: одним из величайших писателей XVIII века). Из него сделали этакий театральный персонаж. О Казанове всячески стараются создать ложное представление. Режиссеры, ставившие о нем фильмы, изображали его как картонного паяца, любовную машину, более или менее дряхлую и смешную марионетку. Он преследует воображение людей и его тревожит. Охотно рассказывая о «галантных похождениях» Казановы, его лишают глубины. Короче говоря, ему завидуют, о нем говорят со смутной досадой, уязвленно-покровительственным тоном. Феллини дошел до такой глупости, что назвал Казанову глупцом. А следовало бы воспринять его наконец таким, каким он был: простым, прямым, отважным, просвещенным, обаятельным, веселым. Философом в действии.

Он позабавился вволю, наблюдая закулисье человеческой

деятельности, он изучил нервную систему легковерия. Иногда он водил за нос кое-кого из своих партнеров, но, по его собственному признанию, то было их желание, а не его, и, будь на его месте другой, он надул бы их *менее благородным образом.* Казанова вовсе не приписывает себе непременно благородную роль, не приукрашивает себя, он точен в своих описаниях, он стремителен. Его так же занятно читать, как «Дон Кихота» Сервантеса. Короче, его «История» — шедевр, маршрут, проложенный человеком, идущим вперед, к своей правде.

Казанова обладал удивительным телом, он подчинялся ему, вслушивался в него, расточал его, *обдумывал.* По сути, именно это и ставит ему в вину неувядаемый дух ханжества.

В апреле 1798 года в Дуксе Казанова заболевает. Он прерывает редактуру своей рукописи. 27 мая его племянник Карло Анджолини приезжает в Дукс, чтобы ухаживать за больным, 4 июня Казанова умирает. Анджолини увозит рукопись в Дрезден.

В 1821 году семейство Анджолини продает рукопись лейпцигскому издателю Брокгаузу.

С 1822-го по 1828 год в свет выходит в немецком переводе первое «очищенное» издание «Истории».

С 1826-го по 1838-й появляется первое, «пересмотренное», французское издание (редакция Лафорга) — именно этот вариант читал Стендаль, и именно его можно и сейчас найти в издании «Плеяды».

В 1945 году чудом избежавшая гибели рукопись «Истории» перевезена из Лейпцига в Висбаден. И только в 1960 году выходит наконец подлинный текст (издательство «Брокгауз — Плон»), переизданный в трех томах в 1993-м в серии «Букен» («Старая книга») издательством «Робер Лаффон».

Как видим, Казанову надолго «забыли», хотя исподтишка грабили. Забыли, исказили, принарядили в соответствии с расхожими представлениями о «галантном веке». Не хотели, чтобы он делал Историю. Жизнь не положено смешивать с Историей, а тем более с сексуальной свободой и писательством. По счастью, вопреки всяческому обскурантизму, замечательные «казановисты», по большей части любители, способствовали многим уточнениям. Если не считать некоторых ошибок (чаще всего в датировках), все, что рассказывает Казанова, *правда.* Вот это-то, наверно, и есть самое потрясающее. Не забудем также, что *сам текст*, то есть то, что написано рукой Казановы, вошел в обиход всего лишь пять лет назад. В общем, все это еще только начало.

Я люблю представлять себе тайную перевозку рукописи по

охваченной пламенем и расчлененной человеческим безумием Европе 1945 года под непрерывными бомбардировками. Повсюду властвует смерть, и кажется, что беспримерное одичание уничтожило саму идею цивилизации. Тысячи страниц, заполненные тонкими черными буквами и сложенные в ящики в кузове грузовиков, рассказывают о жизни, ставшей неправдоподобной.

Гром небесный не смог уничтожить эту рукопись. Не смогли этого сделать ни ханжество, ни цензура, ни художественный вымысел с его искажением правды, ни равнодушие, ни враждебность, ни реклама. Но мы, нынешние, что делаем с ней мы? Свободны ли мы настолько, чтобы ее прочитать?

Казанова. Человек будущего.

* * *

Жан Лафорг был в XIX веке профессором французского языка. Этот добросовестный и серьезный учитель — типичный продукт своего времени. Ему поручают стать рерайтером Казановы. И он берется за дело.

На глаза ему попадается следующая фраза о женщинах: «Мне всегда нравилось, как пахнет та, которую я любил, и чем сильнее она потела, тем это было приятнее».

Полминуты уходит у Лафорга на размышления. Нет, в XIX веке (впрочем, и теперь тоже) женщины не *потеют.*

Посему профессор исправляет неуместное выражение и пишет: «Что касается женщин, мне всегда был приятен запах тех, кого я любил».

Все-таки *лучше,* не правда ли?

Лафорг прочищает нос платком.

Вслед за обонянием — вкус. Казанова не скрывает своего, как он сам говорит, «чревоугодия»: ему нравится дичь, барабулька, печень угря, крабы, устрицы, сыры с плесенью, и все это под шампанское, бургундское, белое бордо.

Лафорг (тут в нем дают себя знать черты Лепорелло) находит такой аппетит варварским, чрезмерным, отдающим вырожденчеством и даже откровенным аристократизмом. Он сокращает описание, формулируя на буржуазный лад: «восхитительные трапезы».

Теперь осязание. На одной из страниц Казанова описывает, как он ночью крадется босиком, чтобы не производить шума. Босиком? Озябший Лафорг незамедлительно обувает своего героя в «легкие домашние туфли».

Вы уже поняли: *домашние туфли* — это целая программа. Тело, слишком плотское, слишком ощутимое, слишком выраженное, — вот где она, опасность. Обуйте героя картины Фрагонара «Щеколда» в домашние туфли — это будет уже совсем другая картина. Лафорг — специалист по фиговым листкам (у каждой эпохи свои «реставраторы»).

Но мирское ханжество (и в этом его прелесть) двулико.

Например, от слова «иезуит» его бросает в дрожь. Когда Казанова употребляет это слово с иронией, Лафорг добавляет туда сарказма. То же самое происходит, когда дело касается монархии. Как примирить тот факт, что Казанова не скрывает своей враждебности к Террору, с тем, что его приключения (конечно, смягченные цензурой) — в духе времени? Такой парадокс раздражает. Поэтому Лафорг оставит в неприкосновенности пассаж, где восхваляется Людовик XV («У Людовика XV была красивейшая в мире голова, сидевшая на его плечах столь же грациозно, сколь и величаво»): в конце концов, этому Людовику голову не отрубили. Зато лучше убрать диатрибу против французского народа, который истребляет свою знать, против того народа, которого Вольтер назвал «самым чудовищным из всех» и который похож «на хамелеона, принимающего любую окраску и способного на все дурное или хорошее, что его может заставить сделать какой-нибудь главарь».

Потливость женщин, запахи, пища, политические взгляды — за всем следит бдительное око. Если Казанова пишет «парижская чернь», в его уста вкладывают слова «добрый парижский народ». Но конечно, самое щекотливое дело — точность в описании сексуального влечения. Говоря об упавшей женщине, Лафорг пишет, что Казанова «целомудренной рукой исправил вызванный падением беспорядок». Да будут выражения галантными! Казанова куда более точен: по его словам, он подошел, чтобы «быстро оправить ее юбки, которые явили моему взору все ее тайные прелести». Как видим, никакой целомудренной руки, но зато приметливый взгляд.

Профессор Лафорг «боится брачных уз как огня». Уж не потому ли, что он не хочет шокировать свою мать, сестру или жену (и многочисленных приятельниц жены), он не воспроизводит фразу Казановы «Брак для меня страшнее смерти»? Тем более ни в коем случае не следует показывать двух значительных персонажей из «Истории моей жизни» — К.К. и М.М. (подружек одного из самых счастливых периодов в жизни Казановы, когда он обитал в своем венецианском «казино», домике свиданий) в такой, например, картинке: «Они принялись за дело с яростью двух тигриц, готовых, кажется, пожрать друг

друга» (можно себе представить, как покраснел бы, читая эту фразу, Марсель Пруст). Так или иначе, ни под каким видом нельзя пропустить, например, такое: «Во всех исполняемых нами трио мы все втроем были одного пола». (Еще совсем недавно писавшая о Казанове милая молодая женщина задавалась вопросом, какой же пол тут имелся в виду, — право, объяснить ей это *письменно* я не берусь.)

По мнению Лафорга, после оргии Казанова непременно должен испытывать «отвращение». Ничуть не бывало. Тогда Лафорг сочиняет. И то сказать, в его эпоху плоть обязана была быть печальной, все книги — прочтены, а скука и меланхолия, сомнение и отчаяние — все больше охватывать умы.

Если Казанова пишет: «Уверенный в том, что в конце дня я в полной мере вкушу наслаждение, я отдался своей природной веселости» (уж таков он, Казанова), Лафорг исправляет автора и вкладывает в его уста такие слова: «Уверенный в своем счастии…» Слово *«наслаждение»* изгнано. Профессор считает невозможным описывать женщину, которая лежит на спине и занимается «рукоблудием». Нет, она будет «заниматься самообольщением» (пойми, если можешь). Во всяком случае, рука остается целомудренной. Профессор решается, однако, употребить слово «онанизм» (термин медицинский) там, где Казанова изобретает великолепный неологизм — «рукоублажение».

Ловкая женщина, рука которой умеет ее ублажать, не строит на свой счет никаких иллюзий — это легко проверить. Но, как видно, профессору Лафоргу не выпало случая в этом убедиться. Очень жаль.

Еще одно вмешательство цензуры: неприлично говорить, как Казанова, о «хищном нутре, которое у одной вызывает судороги, другую сводит с ума, третью делает ханжой». Казанова любит женщин и как любит, так и описывает, без всякого ханжества. Но Лафорг — он уже феминист, он почитает женщин, он их боится, он предтеча легионов стыдливых профессоров, в особенности философов — нового духовенства, которому предстоит заменить прежнее. Казанова — непослушный ученик в классе. Если он упомянет о подозрительном пятне на своих штанах, его быстренько отправят в уборную замыть пятно. От времени до времени в его сочинения будут вставлять моральные прописи (у него их нет). Иногда профессорская правка доходит до крайности. Вот, например, М.М., о которой Казанова говорит, что «эта монашенка, наделенная смелым умом, распутная и веселая, была восхитительна в каждом своем поступке». В один прекрасный день она написала своему Казанове любовное письмо. Вариант

Лафорга: «Я посылаю тысячу поцелуев, которые тают в воздухе». На самом деле Казанова приводит другой текст (и насколько он лучше!): «Я целую воздух, представляя себе, что это ты». Мелочи? Не скажите. Любовь — наука мелочей.

«Моя жизнь — это моя плоть, моя плоть — моя жизнь», — говорит Казанова. Обычно литература, романы дают возможность вообразить жизнь, которой у автора не было, здесь наоборот: человек *отдает себе отчет,* как в день Страшного суда, что его жизнь была подобна книге, огромному роману.

> «Вспоминая пережитые наслаждения, я наслаждаюсь ими снова, во второй раз, и смеюсь над горестями, которые мне пришлось пережить и которых я больше не чувствую. Частица вселенной, я обращаюсь к воздуху и воображаю, будто отдаю отчет в своем управлении, подобно метрдотелю, который отдает отчет хозяину, перед тем как уйти».

Великолепная формулировка: «Частица вселенной, я обращаюсь к воздуху…» И воздух слушает. Лицо по имени Казанова (которое прожило жизнь и которому предстоит умереть) смотрит на себя как на метрдотеля по отношению к самому себе. Он преданно сопровождал себя, обихаживал, служил себе. Как метрдотель, он может уйти из великого трактира жизни. Но уйти не значит у него исчезнуть. Жак — не фаталист. Его двойник — его секретарь. Тело уходит, дух судит. Дух — это повествование.

Таков Казанова — он устраивает себе праздник из каждого мгновения, он не знает длительных помех, ничто его не гнетет, его развлекают и занимают даже собственные болезни и неудачи; и, конечно, всегда и всюду неожиданно возникают женщины, вовлекаемые в его магнетическую круговерть. Он приходит, он уходит, и, главное, он *спасается бегством.* Нет сомнения, это величайший мастер побега (что такое «История моей жизни», написанная в захолустном уголке Богемии, как не высокого стиля побег от времени и пространства?).

Женщины, его союзницы, часто как бы волею случая связаны между собой узами родства или близости — это сестры, подруги или даже мать с дочерью. Протрем глаза и прочтем:

> «Я никогда не мог понять, как это отец способен нежно любить свою прелестную дочь, не переспав с нею хотя бы раз. Эта моя непонятливость всегда убеждала меня и сегодня убеждает тем более, что мой дух и моя плоть — единая субстанция».

И богохульник настаивает:

> «Инцест, вечный сюжет греческих трагедий, вызывает у меня не слезы, а смех».

Невероятно. Неужто Командор в «Дон Жуане» — просто кровосмесительный отец, который даже за гробом мучим яростью оттого, что другой, черт бы его подрал, совершил с его дочерью то, о чем мечтал он сам? А Иокаста, не знала ли она в глубине души, что Эдип — ее сын? А сам Эдип, в своих потемках, не испытывал ли двусмысленного смятения по отношению к собственной дочери Антигоне, которая была к тому же его единоутробной сестрой? Остановитесь, не то гореть вам в вечном огне. Надо понять смысл *вызова* Казановы, этого потрясающего требования инцеста (кстати, осуществленного на практике той знаменитой ночью в Неаполе и подробно описанного).

Всего этого вполне достаточно, чтобы смутить и шокировать любое общество, каким бы оно ни было. И возникает вопрос: как общество могло *допустить,* чтобы подобное признание было опубликовано? Нам не следовало бы читать подобные речи (тем более сегодня, в эпоху нового, усиленного давления моральных установок). Когда проходишься по XVIII веку, часто возникает ощущение, что человеческие особи в этом столетии словно бы отрезаны от человечества и, так сказать, свободны от него. Концентрация свободы в них столь велика, что они как бы постоянно нас опережают. Вслушайтесь в Моцарта — это сразу становится очевидным. То же ощущение свежего ветра при чтении Казановы. Если он прав и доказал это, девять десятых наших прописных истин рушится. Поэтому решили, что он просто хвастается. На самом деле все чистейшая правда.

«Мой дух и моя плоть — единая субстанция». Приключения Казановы, магнетизм, который они источают, несомненно, происходят от той самой «субстанции», которая составляет суть Казановы и которую не в силах объяснить никакая метафизика. Благодаря этой субстанции и благодаря неотъемлемому от нее презрению к рабству и смерти, стены раздвигаются, враги исчезают, счастливые случаи множатся, выход из тюрьмы становится возможным, игра оборачивается выигрышем, самоубийство откладывается, из побежденного безумия извлекается польза, и разум (во всяком случае, некий высший разум) торжествует победу.

Казанова — каббалист, он — маг, но вопреки расхожему мнению (которое не ведает сомнения) он во все это не верит и постоянно потешается над доверчивостью современной ему элиты. Он смеется над Калиостро и графом Сен-Жерменом. Его

приключение с маркизой д'Юрфе (которая ждет от сексуального суперколдуна Казановы, что он преобразит ее в мужчину) — одна из самых ошеломительных историй, когда-либо случавшихся в жизни (или хотя бы рассказанных). Так что же, Казанова — шарлатан? Если угодно, да, когда приходится, но шарлатан, *признающийся* в своем шарлатанстве, чего не случалось ни до, ни после него, и при этом каждый раз уточняющий истинную — сексуальную — причину всех суеверий. По сути, он похож на Фрейда, но только с юмором. Фрейд — это итог века вытеснения; Казанова — повесть века освобождения, века, произведшего в конечном итоге единственную Революцию, о которой говорят до сих пор.

Встречался ли он со звездами своего времени? Запросто. С Вольтером? Читал ему Ариосто, и тот плакал. Руссо? Полное отсутствие обаяния, не умеет смеяться. Фридрих Прусский? Перепрыгивает с предмета на предмет, не слушает ответов собеседника. Екатерина Великая? С ней он путешествует, обсуждая вопрос о календаре. Кардинал Бернис? Это приятель по разгулу в Венеции, а позднее покровитель в Париже. Папа? В самом начале пути награждает Казанову тем же орденом, что и Моцарта.

Кстати, о Папе. Позиция Казановы удивительна. Свою «Историю» он начинает так:

> «Воззрения стоиков, да и всех прочих сект на силу судьбы — химера воображения, попахивающая атеизмом. А я не только монотеист, я христианин, чья вера подкреплена философией, которая еще ни разу ничему не повредила».

Мало того, говорят, он умер, шепча: «Я жил как философ, умираю как христианин».

Провидение, утверждает Казанова, всегда внимало его молитвам (в частности, когда он бежал из Пьомби). «Отчаяние убивает, молитва рассеивает его; помолившись, человек преисполняется надежды и действует». Молящийся Казанова? Ну и зрелище! Видите, насколько о нем *неправильно судят.* Удивительное признание, во всяком случае, для человека, бросающего в лицо себе подобным фразу, которую поймут те, кто «от долгого пребывания в огне превратились в саламандр» (очевидная алхимическая аллюзия):

«Я позабавился вволю — что было, того не отнимешь».

Таков основной, позитивный, тон первой апологии необратимости времени.

Казанова жив — это мы удалились от него и, несомненно,

зашли в роковой тупик. Однажды вечером в Париже он присутствует в Опере, в ложе рядом с ложей мадам де Помпадур. Хорошее общество потешается над изъянами в его французском, когда он, например, говорит, что не мерзнет дома, потому что его окна хорошо «запернуты». Он возбуждает любопытство, его спрашивают, откуда он. «Из Венеции». Мадам де Помпадур: «Вы в самом деле прибыли из тех краев?» А Казанова в ответ: «Венеция, мадам, не с краю, а на самом верху». Это дерзкое замечание (маркиза вспомнит о нем позднее, когда он совершит побег из Пьомби *по крышам)* производит впечатление на зрителей. В тот же вечер Париж открывает перед ним свои двери.

* * *

Вы произносите «Прага» — и перед вами мгновенно возникают клише XX века: средневековый город, мрачный, демонический, загнивающий, маятник времени здесь остановился, это город Голема и Кафки, «Процесса» и «Замка», абсурда и липкого заговора потемок. Пусть мы знаем, что Берлинская стена пала, что произошла «бархатная революция», все равно прежде всего мы вспоминаем о происшедших одно за другим вторжениях, немецком и русском, и о тяжелом сне «социализма» в тисках полиции и армии.

Поэтому искать Казанову в Праге кажется шуткой, провокацией, в лучшем случае пари, которое невозможно выиграть. И однако он там, где-то неподалеку. Рассказчик прибыл из Нью-Йорка, снова, в который раз, проехав через Венецию. Здесь он впервые. Впервые? Изумление его безмерно, ибо здесь, в Праге, это все еще Италия. Он спрашивает себя, не высадился ли он по ошибке в Неаполе? Город пылает разноцветьем — его перекрашивают, готовя для будущих туристов; замки и церкви — розовые, бледно-зеленые, охряные, белые, желтые — вибрируют на солнце. Барокко чувствует себя здесь как дома, и, кстати, иезуитская Контрреформация тоже (осторожно! профессор Лафорг вычеркнет слово «иезуитская»).

Если не считать безобразного тяжеловесного памятника Яну Гусу, воздвигнутого на центральной площади (его преспокойно можно было бы взорвать, как и зловещую статую Джордано Бруно на Кампо ди Фиоре в Риме), все остальное — светло, пропорционально, радостно, музыкально. Замок наверху? Очарование теснящихся строений (в особенности ночью). Лестницы, террасы? Видение симфонических партитур. Кстати, мелькающие там и сям красные афиши, словно подмигивая вам,

оповещают о скорой премьере моцартовского «Дон Жуана».

Рассказчик ничего не говорит, он ходит, бродит, убеждается, что скоро начнутся многочисленные концерты (Бах, Вивальди и снова Моцарт), возвращается в гостиницу, ложится вздремнуть, опять выходит на улицу. Само собой, он пойдет на еврейское кладбище осмотреть в безмолвии его хаотические вертикальные надгробия, но отсюда его живо выдворит меркантильная суета посетителей. Он счел своим долгом посетить «Лорето»[7] (на сей раз он чувствует себя во Флоренции или в Пизе), не преминув кое-где сфотографироваться, в частности перед кафе «Кафка» и у закусочной «Казанова». Все это путается у него в голове, ему начинает казаться, что в нем самом рождается странный, но лучезарный и естественный сплав: он ищет Кафказанову.

Странно? Ничуть. Кафка, этот чародей безотрадной эпохи, делает рассказчику знак, указывает дорогу, то есть указывает тот поворот времени, который беззвучно, тайным языком твердит о воскресении и возрождении. *Тсс!* Говорить об этом, несомненно, еще слишком рано, даже если все прозрачно и само бросается в глаза. И все же будем осторожны: всеотрицающий дух, дух насмешки и отчаяния, быть может, и сейчас не дремлет, притаившись в уголке. И однако, сомнений нет, здесь цветет невинность. «Pentiti! No! Si! Si! No! No!»[8] Обойдем Командора стороной, но раскаиваться не станем, мы научились, как саламандра, жить в огне. Кое-кто оказался навеки прав, когда впервые в октябре 1787 года (ровно двести десять лет назад) воспел свободу, женщин, хорошее вино и все прочее. Кафка, навсегда застывший в изящной позе, — герой этой свободы, ставший пленником глухоты XIX века. Некто явился сюда в обличье каббалиста, чтобы ради свободы бросить вызов Террору. Мы с Жаком Казановой приглашаем Кафку на сегодняшнее вечернее представление. Будут музыканты, певицы — единственные представители человечества, которым a priori не грозит крушение, это очевидно.

На другой день спозаранку путешественник в нетерпении берет машину, чтобы ехать в Духцов к Казанове. Духцов — ведь это тот самый Дукс, где находится старинный замок Вальдштейн, в котором тринадцать лет подряд Казанова играл роль библиотекаря? Это в сторону Германии, по направлению к Дрездену? Совершенно верно. А слово «Духцов», случайно, не значит что-нибудь по-чешски? Конечно, отвечает шофер по-английски, это значит «the ghost's village», деревня духа — духа в смысле привидения.

Звучит многообещающе.

Слово Dux, на латинском языке означающее проводник,

вожатый, — впоследствии оно приобрело неприятный оттенок из-за связи с Duce (дуче), — таким образом обросло еще и привидениями. Казанова, как известно, был блестящим латинистом. Dux, Lux — он не мог не заметить этого сближения. Где вы теперь? В Дуксе, в замке, в Богемии. Отличный *адрес,* чтобы писать и закончить свой жизненный путь.

Накрапывает дождь. Машина катит по странно пустым деревням — здесь прошла коллективизация, стало быть, земля необитаема. Она очень красива. Буковые и березовые леса, а вскоре начинаются невысокие горы, и повсюду красота осеннего золота (стоит октябрь). Вдруг слева возникает монастырь в стиле барокко — он полуразрушен (коммунизм обязывает), но его реставрируют. Рассказчик постоял на влажном ветру, полюбовавшись левитацией каменных Богородиц и ангелами среди опадающей листвы. Ни души. Совершенное безмолвие. Уезжаем. И тут происходит первое событие этого достопамятного дня.

Поворот дороги. Уже издали справа виднеются старинные темно-красные укрепления. Наверняка военный городок, стратегический пункт, центр гарнизона. И да и нет. Это Терезин, Терезиенштадт, истинный город призраков. Страшное место нацистского варварства и коварства, место жуткой эксплуатации «собранного» здесь еврейского населения, место страданий, куда сгоняли, где сортировали, шантажировали, мучили, убивали. На громадном пустом пространстве — двадцать восемь тысяч расположенных рядами маленьких могил, и каждая обсажена красными розами. Похоже на детские могилы. Вдали главный форт. Огромный крест (в терновом венце), а дальше, за ним, звезда Давида, вокруг которой сотни букетов цветов (сюда, очевидно, приезжают со всех концов света). Рассказчик выходит из машины и идет по этой равнине мертвых. Впрочем, он вскоре каменеет перед… чем? Перед несказуемым. Ты уже не в обычном, исчисляемом времени, но в какой-то иной грозовой субстанции, которой нет нужды подыскивать имя (Клод Ланцман[9] в связи с «Шоа» называет это «внемемориальное»).

Терезин — некое предупреждение для путешественника: ты можешь говорить о воскресении, возрождении, празднике, о красках, о Моцарте, это вовсе не означает экзотического «возврата» в XVIII век. Ты здесь не для того, чтобы снимать декоративный костюмный фильм, иначе говоря, чтобы добавить еще одну нелепость ко всему тому, что говорилось (и говорится) о Казанове. Нет, тебе надо по возможности (но возможно ли это?) быть соразмерным смерти, которая *здесь.* Я невольно вспоминаю одного человека (в данном случае это был поэт-сюрреалист),

который считал, что Казанова был лишен «чувства трагического». Да как раз наоборот: чувство времени, мгновения, отклик на каждую *сиюминутность* требуют острого ощущения негативного. Стефан Цвейг тоже находил Казанову легковесным: «Легкий, как бабочка-поденка, пустой, как мыльный пузырь». Это поверхностное суждение, порожденное псевдоглубокомыслием (весьма распространенным и в конечном счете клерикальным). Моцарт пронзителен и легок. Любовь, которая сильна как смерть, торжествует над смертью.

Надо быть внимательным и серьезным — вот и все.

Поездка продолжается, но, само собой, она происходит теперь в ином пространстве, не в том, что нанесено на географическую карту, словно ты пересек невидимую линию высокого напряжения. Шофер молчалив и бесстрастен (он, наверно, проезжал здесь сотни раз). После Терезина, города немого ужаса, машина катит на северо-запад, к Дуксу, Духцову, деревне-призраку.

И вот она наконец, эта деревня. Ничего примечательного, если не считать на одной из площадей прекрасного замка в стиле барокко, охряного и белого, и рядом с ним церкви, словно по оплошности поставленной как раз посередине. Это здесь.

Вокруг ни души. И вдруг откуда ни возьмись клаксоны, стремительно несущиеся машины. Это свадьба. Обитатели замка давным-давно съехали, теперь в их замке брачуются. Рассказчик уже ничему не удивляется, он знает, что сегодня особый день и, значит, будет множество различных знаков и знамений. Итак, это деревенская свадьба (в чемодане у путешественника как бы по случайному совпадению книжечка Кафки под названием «Свадебные приготовления в деревне»). Не согласится ли невеста, высокая миловидная брюнетка, сфотографироваться у ограды замка вместе с французским путешественником? Жених и отец не возражают? Да нет, отчего же. И все входят внутрь.

Итак, я попадаю к Казанове прямо на свадьбу. Никак иначе. Его замок превращен в мэрию, этого можно было ожидать (хотя то-то бы удивился, окажись он здесь, граф Вальдштейн, и тем более принц де Линь). Странно, что Казанова очень быстро ввязался здесь в небольшое приключение с молодой местной крестьяночкой, которая, по его словам, прислуживая ему, поминутно заходила в его спальню. Девушка забеременела, подозрение пало на чудака иностранца, который все время что-то пишет, он защищается, отрицает свое отцовство, гнев народа разгорается, вот вам еще одна сцена из «Дон Жуана», наконец объявляется молодой человек, который признает себя виновным (истинным? а может, мнимым?), молодую пару венчают,

инцидент исчерпан.

Уф, отлегло.

Свадьба дожидается мэра. Я начинаю осмотр. Превращенные в музей апартаменты Казы невелики (всего две комнаты), но совсем недурны. Окна выходят на парадный двор и на окаймляющие его скульптуры (среди них фигура гигантского Геркулеса). Именно здесь господин библиотекарь, которому платили скудное жалованье, но теперь это значения не имеет, писал по двенадцать — тринадцать часов в день (и по ночам) «Историю моей жизни». Из обстановки достойно упоминания только стоящее у окна розовое кресло в стиле Людовика XV, в котором Каза умер.

Рыженькая девушка-гид говорит только по-чешски и по-немецки. Впрочем, немножко и по-английски (но поглядеть на логово монстра приезжают в основном немцы). Так или иначе, она изрекает классические банальности. Красивый замок, красивый парк, анфилады ухоженных гостиных, картины с батальными сценами, портреты, люстры, старинная мебель (все, очевидно, реставрировано после войны). И вот мы снова в библиотеке шевалье де Сейнгальта. Девушка-гид оперлась о книги. Похоже, ей дурно и она сейчас упадет. Но нет, она просто нажала секретную пружинку, она *толкает потайную дверь*. Дверь открывается, и там… Не может быть? Может. Да нет же? Да.

Полутемная комната. Восковой манекен в парике и одежде XVIII века. Он пишет гусиным пером за заваленным папками бюро при свете красной лампы (реальная деталь). Сценка из музея Гревен[10]. Это он! Каза! Призрак замка! Призрак дореволюционного режима! Только не впускайте сюда новобрачную!

Девушка-гид довольна произведенным эффектом. Чучело Казановы в темном уголке, надо было этого ждать! Можно себе представить продолжение: вечер, национализированный замок закрыт. Ни души. А там, наверху, в своем потайном убежище вампир, которого обессмертили и посадили под замок, продолжает свою работу по деморализации общества. Право, чехи не лишены своеобразного юмора.

Иногда очень хочется, чтобы стены могли говорить.

Мумифицированный манекен, ладно, так и быть, но куда подевалось тело? Во всяком случае, ни в замке, ни в парке, ни в закрытой церкви его нет. Так где же? Там, подальше. Где? В лесу? Подхожу к озеру, и тут же (знамения возобновляются) над ним встает роскошная радуга. Таких красивых мне почти не приходилось видеть. Я ничего не выдумал: ни свадьбы, ни воскового призрака, ни двойной радуги, которая стала моим

гидом. Хватит уже, и так перебор. Но вот наконец церковь Святой Варвары (тоже закрытая), и на ее фасаде (уж не вмурован ли Казанова в стену?) табличка, на которой можно прочитать:

JAKOB CASANOVA
VENEDIG, 1725
DUX, 1798

Якоб вместо Джакомо, *Венедиг* вместо Венеции.

Казанова похоронен по-немецки.

Немецкий был, судя по всему, ежедневной драмой Казы. Он говорил по-итальянски, он непрерывно писал по-французски, его кипучая жизнь вновь отдается эхом во французском языке. А в Дуксе он живет в окружении слуг, которые говорят только по-немецки и, как пишет в 1993 году Франсис Лакассен в своем предисловии к «Истории», «в соседстве с крестьянами, которые говорят только на местном наречии, сегодня мы сказали бы — по-чешски».

Как видим, все складывается довольно плохо. Мы в 1791 году: библиотекарь (зачем он здесь нужен?), который все время что-то пишет на каком-то непонятном языке (да и репутация у него дурная: Революция!), не может не вызывать у ограниченных умов недоверие, зависть, ненависть. Самое занятное, что Казанова усматривает в этой неприязни далекую руку своих врагов, якобинцев. Создается ощущение, что ему с самого начала приходится сражаться на два фронта: с одной стороны, наглость аристократов, с другой — агрессивность народа. Невольно вспоминаются слова Шатобриана: «На взгляд роялистов, я слишком любил свободу, на взгляд революционеров — слишком презирал преступление».

В замке гонителями Казы были управляющий Фельдкирхнер и его сообщник (Джакомо даже уверяет, что «фаворит»), посыльный Видерхольт. Позднее граф Вальдштейн уволит их. Но нам легко себе представить, каким мелким унижениям, насмешкам, передразниваниям подвергался изо дня в день графоман-библиотекарь. Казанова мстит письменно, искажая фамилию управляющего, но едва ли такая месть могла его удовлетворить:

> «Смелее же, господин Фаулькирхнер[11], отвечайте на мои письма, но имейте благородство составить Ваши ответы на французском, на латыни или на итальянском, как имею благородство я, посылая их Вам на немецком. Я оплачиваю переводчика, потрудитесь оплатить

переводчика и Вы, и не стесняйтесь обнародовать свое невежество: Вы — во всех языках мира, ну а я в немецком».

Вот декларация южанина, который уже чувствует себя исторически приниженным. Такое положение вещей будет длиться двести лет, оно длится до сих пор. Французская империя, порожденная Революцией, на самом деле подготовила английское, потом немецкое (немецкий язык вытеснит французский в послепушкинской России), потом русское, потом американское господство. А греческий язык? А латинский? О них мы не вспоминаем или, по крайней мере, вспоминаем все реже и реже. Итальянский быстро оказался на обочине, испанскому еще долго ждать своего латиноамериканского возрождения, что до французского, который когда-то был первым языком мира, он уступает место английскому, а тот, в свою очередь, благодаря Интернету сведен к примитиву. Север мощно организовался, Юг (по крайней мере, в данную минуту) побежден.

Поэтому понятно, что вскоре после своей смерти Казанова начинает казаться смешноватым динозавром. Этого требует новое мироустройство (включая кинематограф). И повторяю, то, что он *написал*, в расчет не принимается: ему определена должность театрального персонажа.

Письмо Казановы управляющему Дуксом:

> «Ваш мошенник Видероль, истинный подручник палача, вырвав мой портрет из одной из моих книг, подписал под ним мое имя, снабдив его эпитетом, который Вы ему подсказали, а потом прилепил его к двери нужника с помощью то ли своих, то ли Ваших испражнений, так как в подлом Вашем сообщничестве одни без труда смешиваются с другими».

Конечно, всякий писатель — параноик, и все же вышеописанная сцена (с ее анальным колоритом) дает весьма остро почувствовать определенную *атмосферу*. Ничего удивительного, что посыльный Видерхольт («Видероль»), напав на господина библиотекаря на одной из деревенских улиц, осыпает его палочными ударами (дело происходит 11 декабря 1791 года; Казанова, которому больше шестидесяти пяти лет, пытается привлечь обидчика к суду, но тщетно).

Таков фундамент. Но поднимемся на верхние этажи и посмотрим, как ведет себя по отношению к Казанове аристократия. Лучшим примером будет, безусловно, принц де Линь. Де Линь — сеньор высокого ранга, важный дипломат,

остроумец, который похваляется распутством и атеизмом, и к тому же это великолепный (франкоязычный) писатель. Де Линь был близко знаком с Казановой в Богемии, он восхищается им и ему завидует, он очарован чтением отрывков из «Истории» (надеясь в глубине души, что она никогда не будет опубликована). Само собой, он полон предрассудков своего класса по отношению к искателю приключений, выбившемуся из низов. Поэтому ведет себя с Казановой двулично.

Его письма к Казанове, быть может не лишенные скрытой иронии, — это пылкие объяснения в любви («я к Вам нежно привязан»):

> «Развлекайтесь, продолжайте свое дело, дорогой мой Казанова, и рассматривайте волшебный фонарь жизни лишь с комической стороны…»
>
> «Вам так повезло, что Вас не оскопили, зачем же Вы хотите оскопить свои произведения?»
>
> «Встречая глупца, я думаю, как печально, что жизнь моя проходит вдали от того, кто наводит на глупцов ужас!»
>
> «Треть прелестного второго тома, дорогой друг, вызвала у меня смех, другая треть — эрекцию, третья заставила думать. Читающий две первые трети не может не питать к Вам пылкой любви, читающий последнюю не может не восхищаться. Вы взяли верх над Монтенем. В моих устах это великая похвала».
>
> «Мое сердце вслух и шепотом твердит мне, что оно Ваше, и чувство это небескорыстно, ведь к нему примешана гордость оттого, что ты любишь и любим таким человеком, как Вы, идущим вслед за самыми знаменитыми людьми прошлого…»

И т. д. и т. п.

Какие похвалы! Какая страсть! И однако, я готов поспорить: принц де Линь и думать не думал, что его письма к Казанове будут однажды опубликованы и что Казанова, новый Монтень (пусть в другом обличье), станет более знаменит, чем он сам. Любил ли он Казанову? Не исключено. Но когда де Линь говорит о нем на публику, тон становится другим: в нем прорываются социальные предрассудки, любовная досада и зависть литератора.

Начнем с портрета, в котором легко узнается прототип: Казанова выступает здесь под именем *Авентуроса.*

> «Его можно было бы назвать красавцем, не будь он

безобразен; он высок, сложен как Геркулес, но африканский цвет кожи и живые глаза, в которых, правда, светится ум, но из которых всегда глядит подозрительность, беспокойство или обида, придают ему свирепый вид человека, которого легче прогневить, чем развеселить. Сам он смеется редко, но зато смешит других; своей манерой говорить он смахивает то ли на неотесанного Арлекина, то ли на Фигаро, поэтому он забавен. Не знает он только того, в чем мнит себя знатоком: танцевальных правил, правил французского языка, хорошего вкуса, светских навыков и такта».

Едва-едва подслащенный яд отставленного любовника. Мимоходом клеветнический намек:

«Голова его занята женщинами и в особенности девочками, но теперь они уже не могут покинуть ее, чтобы переместиться ниже… Досаду свою он вымещает на всем, что можно съесть и выпить, и, не будучи более богом в садах[12] и сатиром в лесах, стал прожорливым волком за трапезой…»

Казанова — сексуальный маньяк и педофил? Озлобленный своей импотенцией и ударившийся в обжорство? Спасибо, друг мой, мой читатель, мой принц! А вот и еще кое-что:

«Не забудьте ему поклониться, ибо из пустяка он может сделаться вашим врагом; благодаря своей богатейшей фантазии, живости, свойственной его родине, путешествиям, какие он совершил, занятиям, какие он перепробовал, стойкости, какую он проявил, когда лишен был благ моральных и материальных, это человек редкий, встречи с ним драгоценны, более того, он даже заслуживает уважения и искренней дружбы тех немногих людей, кто удостоился его благосклонности».

Значит, все-таки некоторое уважение. Не без снисходительности, конечно. Впрочем, как знать. В другом месте де Линь подчеркивает, что Казанова — сын неизвестного отца и жалкой венецианской комедиантки. Но вот главное: в мемуарах этого авантюриста есть «драматизм, живость, комизм, философия, много нового, возвышенного и неповторимого», *однако:*

«Я сделаю все, чтобы запомнить эти мемуары, одно

из главных достоинств которых — их цинизм, но именно по этой причине они никогда не смогут увидеть свет».

Что это — сожаление или пожелание? Следующие строки кое-что проясняют. Ведь Казанова, по сути дела, смешон:

> «Он говорил по-немецки — его не понимали. Он сердился — над ним смеялись. Он показывал свои французские стихи — над ним смеялись. Он жестикулировал, декламируя свои итальянские стихи, — над ним смеялись. Входя, он делал реверанс, как тому шестьдесят лет его учил пресловутый танцмейстер Марсель, — над ним смеялись. На каждом балу он с важностью проделывал фигуры менуэта — над ним смеялись. Он носил шляпу с белым плюмажем, шитый золотом камзол шелкового дрогета, черный бархатный кафтан, подвязки с пряжками из стразов на шелковых чулках с отворотами — над ним смеялись».

Но кто же *они,* те, что смеялись над ним?

Принц де Линь солидарен с прислугой замка Дукс. Это доказывает, что хозяева и рабы понимают друг друга куда лучше, чем принято считать.

И далее:

> «Деревенские матери жалуются, что Казанова учит глупостям маленьких девочек. Он твердит: это, мол, все происки демократов… Он наедается до несварения желудка и твердит, что его хотят отравить. Он упал и твердит, что это дело рук якобинцев…»

Этот Казанова не только смешон, он опасен и, если уж говорить начистоту, серьезно *поврежден в уме.* И вот доказательство:

> «Он утверждал, что каждый свой поступок совершал по воле Божьей, таков был его девиз».

Бедный безумец этот Казанова! Конечно, он был умен и храбр, но вечно суетился, отчаивался, ныл. А женщины? Какое там, о чем вы, в лучшем случае девочки.

В том письме к Казанове, где де Линь утверждает, что треть «Истории» вызвала у него эрекцию, он добавляет:

> «Вы убеждаете меня, как ловкий физик, подчиняете, как глубокий метафизик, но огорчаете, как робкий

> антифизик, недостойный своей страны. Почему Вы отрекаетесь от Исмаила[13], пренебрегаете Петронием, и так ли уж Вам было приятно, что Белисса оказалась девушкой?»

Следует почувствовать здесь нечто большее, чем игру слов, которой наслаждается парадоксальный, но зачастую странновато-фривольный ум принца. История Белиссы (Беллино) — это история юноши, настолько очаровательного, что Казанова чуть было в него не влюбился, но оказалось, что это переодетая мужчиной девушка.

Словом «антифизик» в ту эпоху обозначали гомосексуалистов (Фридрих Прусский, например, был известным «антифизиком», что отчасти окрашивало перепады его отношений с Вольтером). Проследим далее линию де Линя: итак, друг мой, не будьте столь *робки.* Само собой, это предложение касается области *духовной*, но и физической также.

Песенка известная: если Казанова так интересуется женщинами, значит, он, сам того не сознавая, гомосексуалист. К тому же все эти его истории сомнительны, интересно было бы выслушать версию *самих этих женщин.* Да и вообще, чего ищет мужчина в своих многочисленных похождениях с женщинами, как не образ собственной матери? Разве Дон Жуан не был, по сути, гомосексуалистом и импотентом?

Теперь много говорят о *гомофобии,* но никогда о *гетерофобии.* Странно.

Итак, напрасно вы, Казанова, прячетесь за разнообразными масками: вы ищете Единственную во всех этих многочисленных и многих. Ваш список нас не обманывает, это ваше алиби, признание наоборот. Упорство, с каким вы говорите «белое», доказывает, что вы хотите сказать «черное». Вы думаете, что вы любите женщин, а на самом деле вы любите мужчин. И вообще вы женщина, охотящаяся за мужчинами. А если это не так, то *должно было* быть так, и т. д.

Впрочем, некая дама-психоаналитик подтверждает слова де Линя: Казанова «полностью зависел от женских желаний (неверно: иногда зависел, но отнюдь не всегда): женщины — его повелительницы, женское чарует его настолько, что он хочет смешаться с ним» (ничуть не бывало); он — *игрушка* женского наслаждения (марионеточная версия Феллини). И еще такое: «Скованный *(sic!)* самоотождествлением с материнским всемогуществом и не имея отцовской опоры, чтобы от него избавиться» (а для чего? чтобы стать психоаналитиком? Нет: чтобы наконец-то стать *хорошим отцом),* Казанова считает, что

«если Бог есть, он женского пола».

Для одного в нем недостает мужского, для другой он слишком подчинен женщинам; для одного (который над этим смеется) — странно говорит о Боге, для другой — обращает Бога в женщину. Бедный Казанова! К нему непрестанно будут прилагать мерки ханжеской, светской, популистской, марксистской, психоаналитической критики и в итоге — никуда от этого не денешься — станут использовать в рекламе косметических изделий и кулинарных рецептах.

Однажды де Линь посоветовал Казанове тайно доверить «Историю» его собственному издателю, который будет выплачивать автору пожизненную ренту:

> «Скажите, что Вы сожгли свои „Мемуары“. Ложитесь в постель. Пригласите капуцина, и пусть он бросит в огонь несколько стопок бумаги, твердя, что Вы приносите Ваши сочинения в жертву Деве Марии».

Иными словами: будьте лицемером. Но Казанова-то как раз *не лицемер* (пусть какое-то время он и был агентом инквизиторов в Венеции).

В 1814 году на Венском конгрессе принц де Линь — одно из главных действующих лиц наряду с Талейраном и Меттернихом. Речь идет о том, чтобы реструктурировать Европу после наполеоновского урагана. Принц умирает в разгар конгресса. Я представляю себе, как он клюет носом на заседаниях, раздумывая: «А что все-таки сталось с тремя тысячами семьюстами страницами рукописи Авентуроса? Наверно, сожжены капуцином. Жаль. А может, наоборот, тем лучше. Кончилась целая эпоха».

Sequere Deum, следовать воле Божьей — вот девиз Казановы. Воле *Бога,* а не *Богини.* Бог, вопреки тому, что думают многие смертные, не женщина и только наполовину мужчина. Чего хочет женщина, того хочет Бог? Если хотите.

Будь Бог женщиной, он имел бы меньший успех у женщин (ведь мужчины, как это доказывают многие религии, хотят стать для него женщинами). Более жесткая версия: Казанова не признает Эдипа и кастрации. Но мы знаем, что над Эдипом он смеется (какой скандал!), а что касается кастрации, то это в первую очередь относится к цензорам его произведений.

А что говорил в действительности сам Казанова? Слова очень откровенные и очень простые:

> «В силу сангвинического темперамента во мне весьма велика тяга ко всякого рода сладострастию, я

всегда весел и спешу от одного наслаждения к другому, неутомимо изобретая их».

«Сангвинический» темперамент — это его молодость. Но он, подлец, утверждает, что изучил вопрос со всех сторон и у него по очереди были «все четыре темперамента»: флегматичный в детстве (невозможно представить себе такое детство), сангвинический, холерический (в тридцать восемь лет в его крови и впрямь появилась желчь) и, наконец, меланхолический — как раз такой, как нужно, чтобы описать все пережитое (и тогда к черту «маленьких девочек!»).

Послушаем его самого:

> «Всю свою жизнь служил я плотским радостям, и не было для меня занятия более важного. Чувствуя, что рожден для противоположного пола, я всегда любил его представительниц и, насколько мог, старался внушить им любовь к себе. Я также пылко любил радости чревоугодия и страстно интересовался всеми предметами, способными возбудить любопытство».

Я чувствую, следовательно, существую. Меня очень занимает различие полов. Я люблю другой пол и внушаю ему любовь к себе.

Различие любит быть различным. И я не допущу в нем безразличия. Иначе скучно, а скука хуже смерти.

Смерть? Она мне отвратительна, *«потому что она разрушает разум»* (дивная формула!).

> «Я чувствую, что умру, но хочу, чтобы это случилось помимо моей воли: мое согласие смахивало бы на самоубийство».

Казанова едва не покончил с собой в Лондоне в середине своей жизни. Он знает, о чем говорит. Но и в этом случае, утверждает он, как и во время своего удивительного побега из Пьомби, он *«следовал воле Божьей»*. Почему бы ему не поверить?

* * *

> «Матушка произвела меня на свет в Венеции, апреля 2 дня, на Пасху 1725 года. Накануне донельзя захотелось ей раков. Я до них большой охотник»*[14].

Эти строки, едва ли не последние в своей жизни, пишет семидесятидвухлетний старик. Он отвечает на вздорные вопросы, которые прислала ему в письме поклонница, молодая особа двадцати двух лет Сесиль де Роггендорф, с которой ему не суждено встретиться. Копия рукописи, озаглавленной «Краткий очерк моей жизни», была найдена в его бумагах в Дуксе. Очерк занимает несколько убористых страниц и кончается словами:

> «Это единственный очерк жизни моей, писанный мною; разрешаю использовать его по усмотрению вашему.
>
> Non erubesco evangelium.
>
> *Джакомо Казанова* 17 ноября 1797 года»*.

«Я не краснею за это евангелие?» И по-латыни? А подпись! Те же инициалы, что у Иисуса Христа[15]. Господин каббалист хватил через край.

Мало что сравнится по экстравагантности с приведенной выше начальной фразой очерка. В ней упомянута Пасха, иначе говоря, Воскресение. Казанова, крупная первоапрельская рыбка, явился на свет красным как рак. Его рождению способствовало сильное желание, что охватило его матушку накануне разрешения от бремени, и он унаследовал это желание и утолял его до последних дней своей жизни.

Ирония? О, разумеется!

Дзанетта, мать Казановы, которая вскоре станет актрисой и уедет в Дрезден — то есть в город, неподалеку от которого расположен тот самый замок, где спустя много лет умрет ее сын (вернее, оборвется его телесное существование), — что-то передала ему, но что же?

Читаем: я большой охотник до раков, то бишь до женщин, существ, снедаемых желанием и порождающих желания, от которых другим впору покраснеть.

В подлиннике французское слово «écrevisse» (рак) написано с ошибкой — «écrivisse». Тут есть созвучие с двумя другими словами «écrit» (писание, письмо) и «vice» (порок, изъян).

Не только о превосходном ракообразном говорится здесь, но и о писании «задом наперед», то есть так, как, собственно, и пишет память. Оттого что моей матери Дзанетте захотелось накануне родов поесть раков, она ненароком произвела на свет писателя (и каббалиста, зоркого на слова и на буквы, переводимые в цифры).

Однако не с неба же свалился Казанова. Пора отправиться в Венецию начала XVIII века.

Кого возьмем в проводники? Любопытнейшую личность,

поэта с очень скверной репутацией, сыгравшего в жизни Джакомо роль едва ли не отца, — Баффо.

Джорджо Альвизе Баффо (1694–1768) — патриций, член венецианского Большого Совета, человек знатный, но небогатый. Это друг семьи Казановы, скандальный поэт-либертин, писавший на венецианском наречии и прозванный «сыном Адриатики». Вот его эпитафия:

> Проворство дерзкого ума,
> Способного на сто ладов
> Объять предмет со всех сторон,
> В известной мере искупает
> Бесстыдство его поэзии.

Вместо «искупает» можно было бы сказать «объясняет».

Стихотворения Баффо помогают понять свободу венецианских нравов в то время, когда родился Казанова. Стихотворения? Скорее новеллы в стихах. А раз так, вместо того чтобы переводить, их с таким же успехом можно просто пересказывать (главное — не опускать непристойности).

Вот например: однажды он вышел от скуки прогуляться и увидел в окне хорошенькое девичье личико. Он приветствует девушку, та улыбается, он тотчас забирается к ней — она дома одна — и предлагает «с нею спознаться». Она вежливо отказывается, говорит, что еще девица, но может, ежели он хочет, его приласкать. «Ей захотелось, чтобы я оросил своим семенем ее лоно, после чего она принялась ублажать себя сама с ловкостью заправской шлюхи».

Таких примеров наберется с добрую сотню. Мы еще выбрали какой поприличнее (памятуя о профессоре Лафорге).

Баффо описывает Венецию как настоящий веселый рай, город удовольствий, где поклоняются Венере. Жизнь тут стремительно изменилась:

> «Замужние женщины не сидят больше взаперти, а днем и ночью свободно разгуливают по городу… Они легко пускают посторонних на супружеское ложе, притом что муж либо ничего не знает, либо же знает, но в ус не дует».

В кофейнях, где прежде, по словам Баффо, можно было встретить только шлюх да их хозяек, нынче «сколько угодно мещанок, купеческих жен, знатных дам и голодных содержанок… По вечерам они прохаживаются по площади, ладные, пригожие —

так бы и ущипнул!»

Знать одевается «на французский манер» и пускает на ветер все, что имеет. Игорные дома переполнены, играют по-крупному:

> «Деньги льются рекой, что служит процветанию города, но истощению кошельков.
>
> Если бы не пороки, зачахли бы художники.
>
> Если бы не тщеславие, чревоугодие и сладострастие, великие сокровища пылились бы по углам.
>
> Достойно сожаления, что в городе поубавилось девок, но замужние женщины восполняют этот недостаток».

Не надо забывать, что Венеция — город Аретино, друга Тициана, знаменитого своим острым пером. Баффо продолжает и развивает традицию. Казанова прочел его сочинения еще мальчишкой.

> «Есть еще множество певиц и танцовщиц, искусных лошадок, на которых любо-дорого погарцевать…
>
> Певуньи да плясуньи нынче живут на широкую ногу, по-королевски, и влекут за собою целую свиту елдаков.
>
> Эти бабенки имеют большую власть над мужчинами, во всем следуют собственной прихоти и делают честь своему полу.
>
> Они весьма завлекательны на вид, опрятны, ходят в чистом платье, что верхнем, что исподнем».

Стоит ли напоминать, что музыканта, по которому в то время сходит с ума весь город, зовут Антонио Вивальди? А в музыке этого рыжеволосого падре слышно дыхание самой свободы!

> «Какое чудное блаженство едрить красавицу и слушать, как она выпевает рулады!
>
> Какое наслаждение сравнится с тем, что чувствуешь, когда милашка отплясывает на твоей елде!
>
> Речи их обыкновенно полны очарования, а доступность придает им несравненную прелесть».

В старинном словечке «елда» есть свое обаяние. Им охотно, так сказать, манипулировал де Сад. У елды свои лады, она хоть и входит в женский род, да с мужской статью. Казанова называет этот орган по-всякому: то *кинжалом,* то *скакуном,* то *наиглавнейшим оружием,* а в минуты особого вдохновения — даже *Словом.* Ну а семенная жидкость, которую в наше время все

больше хранят в лабораториях и за которой закрепилось название *спермы,* Казанова именует *влагой, нектаром, жидким корнем.* Плохо ли?

Слово «едрить» дошло до наших дней с неизменным смыслом. Правда, оно, кажется, уже не такое рабочее и, того гляди, станет вовсе безработным. Но в арготическом языке оно еще сохраняется.

Глядя на Баффо (и его ученика), понимаешь, как отчистили туристическую Венецию от ее смачной грязи. Остался только Карнавал, да и то в виде жалкой пародии на былые великолепные оргии. Северянам подавай смерть в Венеции.

* * *

Джакомо Казанова был зачат в том мире, который описывает Баффо. Как известно, Каза распустил слух, будто он побочный сын венецианского патриция из рода Гримани (синьорам Гримани принадлежал театр Сан-Самуэле, на сцене которого играли его отец и мать). Это могло бы многое объяснить: непонятное заступничество, не раз избавлявшее его от серьезных неприятностей, тюрьму, изгнание, возвращение, шпионаж, новое изгнание после памфлета, в котором он нападает на всю венецианскую знать, желание облагородиться («шевалье де Сейнгальт») и многое другое. Его мать Дзанетта была хороша собой. Впоследствии, в Лондоне, у нее была любовная связь с принцем Уэльским, в результате которой появился на свет еще один отпрыск, Франческо, ставший известным художником-баталистом.

Впрочем, очень возможно, что законный отец Казы Гаэтано был и его генетическим родителем. В ту пору не слыхали о ДНК и не слишком заботились о таких вещах. Однако наш герой, личность неординарная, не мог не нафантазировать на сей счет, не дать волю своему воображению. Сын комедианта — я? Постойте-постойте. Мой род восходит к XV веку, так гласят записи в архивах моего отца, раз уж именно он мой отец. Тонкая работа:

> «В 1428 году дон Иаков Казанова, уроженец арагонской столицы Сарагосы, побочный сын дона Франциска, похитил из монастыря донью Анну Палафокс, за день до того принявшую постриг».

Правда, недурной зачин для оперного либретто? Выходит, Джакомо по отцу испанец, и среди его предков есть даже некий

дон Хуан *(sic!),* управитель Апостольского дворца в Риме, впоследствии совершивший убийство, а затем подавшийся в корсары или что-то вроде того при Христофоре Колумбе. Еще один предок — Марк-Антоний, «поэт наподобие Марциала», и наконец тезка — Жак Казанова, воевавший во Франции против будущего Генриха IV.

Каза — побочный сын патриция? Так почему бы, раз на то пошло, не поэта Баффо, который по не вполне понятным причинам на правах друга семьи сопровождает юного авантюриста в самом начале его карьеры?

Вот что говорит о Баффо сам Казанова:

> «Синьор Баффо, высокий гений, поэт в самом фривольном роде поэзии, но великий и неподражаемый, был причиной того, что меня определили в пансион в Падуе, а следовательно, ему обязан я жизнью. Последний потомок древнего патрицианского рода, он скончался спустя двадцать лет, но его стихи, пусть малопристойные, не дадут умереть его имени. Благочестивые побуждения инквизиторов венецианского правительства лишь способствовали его славе. Преследуя его рукописи, они придали им ценности».

«Ему обязан я жизнью» — ну, разве я не прав?

Читаем второй абзац «Очерка моей жизни»:

> «При крещении мне дали имя Джакомо Джироламо. До восьми с половиной лет оставался я слабоумным. А там, после трехмесячного кровотечения, меня отвезли в Падую, где ум мой исцелили, так что я взялся за учение и к шестнадцати годам получил степень доктора, меня посвятили в сан, и я отправился искать удачи в Рим».

Минуточку. Что это за «слабоумие» и «кровотечение»? В «Истории» Казанова говорит, что его «сознательное существование» началось, когда ему было восемь лет и четыре месяца: «В первых числах августа 1733 года у меня развился орган памяти… Ничего из бывшего со мною прежде я не помню».

Странная амнезия. Автор мемуаров признается, что в его памяти зияет черная дыра в восемь с лишним лет (привет от Фрейда!), он разделяет свое существование на телесное и сознательное, давая нам понять, что взрастил в себе потрясающую память. Вот каково его первое воспоминание, *пробуждение,* словно он прибыл на Землю с неведомой планеты, свалился из другой галактики и невесть как очутился в нашем мире:

> «Я стоял в углу какой-то комнаты, согнувшись, обхватив голову и неотрывно глядя на обильно текущую у меня из носу и льющуюся прямо на пол кровь. Мария, моя бабка, у которой я был любимчиком, подбежала, умыла мне лицо холодной водой, а потом, не уведомив никого из домашних, посадила меня в гондолу и отвезла на Мурано, густонаселенный островок в получасе пути от Венеции».

Ребенок болен безнадежно. Впору прибегнуть к самым крайним из доступных по тем временам средствам, к темным колдовским силам. И вот сама колдунья, сидит на убогом ложе, окруженная черными кошками. Джакомо должен наконец родиться или возродиться. Требуется ритуальное действо.

Старуха запирает испуганного, перепачканного кровью мальчика в сундук. И начинает ломать комедию: смеется, рыдает, поет, вопит, стучит по крышке гроба-сундука палкой. Потом вытаскивает его, кровь у него течет слабее; обласкав, старуха раздевает мальчика и укладывает на кровать, сжигает какие-то снадобья, пропитывает дымом простыню, запеленывает его, дает ему сладкие пилюли. А под конец втирает ему в затылок мазь «с приятным запахом». Потом снова его одевает и говорит, что кровотечение прекратится, если он никому не скажет о том, что с ним было, иначе же он изойдет кровью и умрет. Ночью, обещает старуха, ему явится прекрасная дама, но смотри молчи!

Маленький Джакомо возвращается домой, ложится и засыпает:

> «Но по прошествии нескольких часов я проснулся и увидел — или же мне показалось, — что в камин из трубы спускается в огромной корзине дама ослепительной красоты, одетая в платье из роскошной материи, на голове ее корона, усыпанная драгоценными каменьями, которые так и горят огнем. Величественная и нежная, она медленно подошла и села на мою кровать. Затем достала из кармана какие-то коробочки и вытряхнула их над моей головой, приговаривая что-то шепотом. Наконец, произнеся длинную речь, из которой я не понял ни единого слова, и поцеловав меня, она удалилась тем же путем, что и пришла, я же снова заснул».

Явление Царицы Ночи — так можно было бы назвать эту сцену. На восьмилетнего ребенка не совсем обычного склада она производит сильное впечатление.

Кровотечение постепенно ослабевает. Память Джакомо развивается, он даже выучился читать. Возвращаясь к ночному посещению, он отмечает, что оно, сон ли то был, маскарад или галлюцинация, возымело целебное действие, быть может, еще и благодаря приказу молчать под страхом смерти. «Лекарства от величайших недугов часто находятся не в аптеках, и каждый день происходит нечто, доказующее наше невежество… В мире нет и не было никаких колдунов, но всегда существовали люди, умевшие внушить другим веру в свою колдовскую силу».

Казанова и сам не раз будет разыгрывать колдуна, каждый раз удивляясь, до чего сильно в людях желание поверить в чудо. Здравый смысл — самая большая диковинка на свете.

Малыш Джакомо рос угрюмым. Он одинок, с ним никто не разговаривает. Считается, что он «не жилец». И он принимает судьбу залетного гостя.

Вскоре после своего второго рождения у колдуньи он открывает для себя, что такое обман.

Однажды, когда отец Джакомо был погружен в оптические занятия, мальчик увидел у него «большой красиво ограненный кусок стекла», который ему очень понравился, потому что все предметы в нем множились. Джакомо положил его себе в карман. Когда же отец стал искать пропажу, Джакомо подсунул стекло брату, и тот был побит за воровство. «По глупости я позднее рассказал все брату, — говорит Казанова, — он так и не простил меня и при каждом удобном случае старался отомстить».

Так оно и бывает.

Вскоре отец скоропостижно умирает. Джакомо описывает его смерть совершенно хладнокровно; точно так же некоторое время спустя новый отъезд матери заставляет плакать другого его брата, его же оставляет равнодушным (да и что тут трагичного!). Замечали ли вы, что люди, отличающиеся повышенной чувствительностью, не бывают сентиментальными? Сентиментальные же люди не обладают тонкими чувствами. Но, вопреки очевидности, принято считать обратное. Все шиворот-навыворот.

Однако кровоточивость не прекратилась окончательно. «Я имел вид дурачка, — пишет Каза, — и постоянно ходил с открытым ртом…» Врачи терялись в догадках относительно его болезни (как и мы), наконец было решено, что ему следует поменять климат. Баффо поддержал это решение и взялся сопровождать Джакомо, его мать Дзанетту и некоего аббата из семейства Гримани в Падую.

Сели в буркьелло, «маленькую барку», и отправились в путь. Джакомо все в новинку: он видит, как мимо бесшумно

проплывают деревья, и заключает, что они ходят. Матушка вздыхает над его глупостью и говорит, что движется лодка, а не деревья. Джакомо понимает и тут же развивает мысль: так, может статься, говорит он матери, не солнце вовсе движется по небу, а мы сами перемещаемся с запада на восток. Мать возмущается, обзывает его дурнем, аббат сожалеет о его скудоумии, а Баффо, фривольный поэт-вольнодумец, нежно его обнимает и говорит:

«Ты прав, дитя мое. Солнце не движется. Не падай духом, будь всегда последователен в рассуждениях, и пусть себе смеются».

Итак, с одной стороны, мать и аббат (обскурантизм). С другой — скандальной славы поэт (разум). Особо подчеркиваю слова «дитя мое».

Не обращая внимания на двух других спутников, Баффо продолжает разговор с Джакомо и дает объяснения, понятные для его «наивного, ясного ума».

> «То было первое истинное удовольствие, какое довелось мне испытать в жизни. Не окажись рядом синьора Баффо, разум мой в ту минуту мог бы замутиться, в нем утвердилось бы малодушное легковерие. Глупость взрослых, без сомнения, притупила бы во мне способность мыслить здраво, в чем я, быть может, не достиг совершенства, но чему всецело обязан счастием, каковым наслаждаюсь, оставаясь наедине с самим собою».

Мало кто ощущает, что обращается вокруг солнца вместе с земным шаром. И еще меньше таких, кто не побоится подумать, что его мать глупа.

Джакомо Казанова считался в семье недоумком. А стал гением.

* * *

> «Те, кому прожитые годы придают, как доброму вину, все больше тонкости и вкуса, любят еще раз мысленно переживать свой любовный опыт».

Не о Казанове ли думал Ницше, записывая эту фразу? Таких можно привести еще много. Ницше любил Стендаля, а значит, и Казанову.

Казанова часто описывает свои любовные похождения в алхимических терминах и, разумеется, сдабривая рассказ

непринужденной иронией. Вот, кажется, он в шаге от Великого Творения, но слишком поспешил или некстати заболел, и все сорвалось, приходится начинать все заново. Искусство любовной войны (словесных атак и рукопашного боя) подобно музыке или управлению государством.

В конечном счете принцип тут один: *следовать воле Божьей.*

Ловить Его явления, сияние, знамения. Каза не связан в своих желаниях. Он следует предчувствию, увлечению с первого взгляда. Не здесь, так там. Или где-то еще. Он лавирует между громами и молниями.

У людей с Богом довольно курьезные отношения. Они не могут обойтись без Него, знают, что Он настигает, где и когда пожелает, и мечтают об этой минуте, в то же время они морочат Ему голову, донимают заумными речами и системами, пристают со своими святынями, нелепыми жертвоприношениями. Когда же Он возникает прямо у них перед глазами, они Его не узнают. Напрашивается сравнение с Фрейдом, которому Шарко в больнице Сальпетриер шептал на ухо, что истерия всегда развивается на сексуальной почве. Ну да, думал Фрейд, но почему он никогда не говорит об этом публично? Ведь это бросается в глаза.

Взять, к примеру, Беттину, первую любовь совсем юного Джакомо. Ее терзания — вполне определенного свойства, но окружающие предпочитают думать, что она безумна, одержима бесом. Бес силен — как его ни изгоняют, он упорствует. Разыгрываются тяжелые и смешные сцены. Джакомо, начитанный и наученный собственным темпераментом, жалеет бедняжку. Слуги Господа занимаются страждущей, на то они и существуют (время идет, слуги Господа меняются, но повадка их остается прежней: они все так же игнорируют очевидные вещи).

Джакомо прочат в священники (для бедняка это путь наверх). Но что у него общего со святошами: с тем, который остриг ему, спящему, волосы, или с тем, который не позволял ему произнести проповедь с цитатами из Горация, или с ревностным надзирателем в семинарии, следящим, чтобы мальчики не ходили друг к другу по ночам и не мастурбировали? Решительно ничего!

В Падуе он зажил свободной жизнью тогдашних студентов, школяров в духе Вийона, заядлых игроков, задир, лгунов, шулеров, а то и душегубов. Это второе посвящение в его жизни, если первым считать вмешательство колдуньи (третье и, вероятно, самое серьезное, имело место в Лионе в 1750 году, когда он, в возрасте двадцати пяти лет, вступил в масонскую ложу). Важнейшая наука для него — наука чувств, умение читать в «великой книге жизненного опыта». Нет, священником он не

будет — не лежит душа. Может быть, адвокатом? Тоже нет — он испытывает «непреодолимое отвращение» к изучению законов. Оно и понятно:

> «Сутяги чаще разоряют целые семейства, чем защищают, а лекари больше людей отправляют на тот свет, чем исцеляют. Стало быть, в мире было бы меньше зла без этих двух вредоносных пород».

Так и кажется, что читаешь Мольера, а то и Антонена Арто: «Не будь на свете врачей, не было бы и больных».

Читателю двадцатого века, особенно если он американец, такие утверждения покажутся дикими — он шагу не ступит без своего врача и адвоката. Казанова устанавливает для себя особую, осложненную казуистикой этику: глупца дозволено (и даже надобно) обманывать. Хитрость бывает оправданной и необходимой:

> «Обманывать грешно, но добротная хитрость есть не что иное, как осмотрительность ума. Она становится добродетелью. По чести говоря, она похожа на мошенничество, но на это не стоит обращать внимания. Глуп тот, кто не умеет к ней прибегнуть. По-гречески эта черта называется cerdaleophron. Cerdale означает „лиса“».

Намек на хитроумного Одиссея (Казанова переводил Гомера). По-латыни упомянутое качество называлось *sollertia* (от греческого *holos* и латинского *sollus* — «полный», и *ars* — «искусство»). Словом, надо уметь обороняться:

> «В этом мире всяк норовит устроить свои дела наилучшим образом и припасти оружие — не того ради, чтобы убивать, а дабы не быть убиту».

И все же Джованни «чувствовал склонность» к медицине. Себя он чаще всего пользовал сам, оказывая сопротивление, иной раз вооруженное, ретивым врачам, готовым из лучших побуждений уморить его (как, например, после дуэли в Польше, когда ему собирались отрезать руку). Кроме того, у него на глазах невежественный и нерадивый врач погубил его отца.

Ни священник, ни адвокат, ни врач. Так кто же он? Писатель — вот занятие похлеще, чем эти три вместе взятые.

Бог, чьей воле следует Каза, это наслаждение. Он служит ему верой и правдой на поле брани, то бишь в постели, и лучше всего с двумя соратницами сразу. Обе в межеумочном состоянии: то ли

спят, то ли нет, но благопристойность соблюдена. Мартон и Нанетта. Он начинает с первой (другая, подзадоренная примером и соперничеством, окажется смелее):

> «Мало-помалу я ее расшевеливал, мало-помалу она поддавалась и, двигаясь очень медленно, но верно, в совершенном согласии с природой, приняла наконец положение, настолько благоприятное, насколько могла, не выдавая своего притворства. Я приступил к делу…»

Он не упускает ни одного удобного случая и действует, применяясь к обстоятельствам. Вот он в карете с «прекрасной фермершей», которая боится грома и находящегося неподалеку мужа. Ничтоже сумняшеся Каза накрывает ее плащом и прижимает к себе, а кучер делает вид, будто ничего не замечает:

> «Она спросила, как у меня хватает дерзости учинять такое невзирая на молнию, и я отвечал, что молния со мною заодно».

Бог не любит суеверия. Бесчисленное множество примеров подтверждает это.

Бог суеверия не любит. Но вполне может использовать его, как и беспутство, в своих целях. Что шевалье де Сейнгальт, он же таинственный господин Паралис, убедительно докажет впоследствии.

* * *

У Казановы отлично подвешен язык, это его оружие. Собеседники слушают, дивятся, верят, поддаются соблазну. Как и вы, читая его. Он сам не раз упоминает о том, как увлекают слушателей его рассказы (история побега из Пьомби стала притчей во языцех по всей Европе). Говорить чистую правду (разумеется, не всю — надо же щадить целомудренный слух ближнего) — лучший способ вызвать к себе сочувствие. Особенно если располагаешь приятной внешностью. Это внушает доверие и симпатию.

Какое-то время Джакомо играл в военного. А до этого его посадили в крепость близ Венеции. Как-то ночью он сбежал оттуда и отдубасил палкой своего обидчика. Доказать его вину невозможно: еще накануне днем он позаботился симулировать вывих, а по возвращении — еще и колики. Едва знакомая гречанка награждает его гонореей. Что ж, он принимает

предосторожности, чтобы не передать заразу другим, и вскоре выздоравливает. В другой раз ему встречается еще одна гречанка, красавица, и они ласкают друг друга через дырку в полу. «Наши утехи, хоть и пустопорожние, продолжались до самого рассвета». Свободный, как ветер, он полагается на случай — что-нибудь да подвернется! И что-нибудь всегда подворачивается. «Я чую запах женщины», — говорит *Дон Джованни,* когда ханжи затыкают нос. Верх наглости — он забредает в знаменитое святилище, церковь Лоретской Богоматери (туда приезжал паломником Монтень): «Я причастился в том самом месте, где Пресвятая Дева зачала нашего Создателя».

Казанове восемнадцать лет.

Наконец Каза в Риме и видит закулисные интриги папского двора. Чтобы выжить в этом городе, заключает он (а не остаться здесь — «так надо отправляться в Англию»), нужно обладать особыми качествами. Быть «двуличным, гибким, вкрадчивым, лицемерным, лживым, елейным, фальшивым, а то и подлым». Надо «все время притворяться, что знаешь меньше, чем на самом деле, говорить без выражения, сохранять смиренный и постный вид, изображать ледяное спокойствие, даже когда внутри пылает огонь, и т. д.» Ни дать ни взять Макиавелли или Мазарини, в придачу циник, поскольку ко всему примешивается сексуальная окраска. «Не знаю, пристало ли хвалиться подобными свойствами, или каяться в них… Я был занятным шалопаем, породистым, недурных статей жеребчиком, но необученным или, что еще хуже, обученным скверно».

Донна Лукреция — скорее всего, первая его настоящая страсть. Он начинает осаду в карете, продолжает в траве на лужайке, где ползают змеи, и доводит ее до конца на скамейке в саду:

> «Стоя друг перед другом, неотрывно глядя друг другу в глаза, мы расшнуровывали и расстегивали на себе одежду, сердца наши отчаянно бились, проворные руки спешили утолить взаимное нетерпение… Когда первая наша баталия завершилась, прелестная Лукреция со смехом сказала, что гений любви блещет, где хочет, не разбирая места».

Казанова намеренно дает своей возлюбленной имя Лукреция (памятуя о взятой силой добродетельной жене и о прекрасной картине венецианца Тициана).

Однако любовь к Лукреции не мешает ему домогаться маркизы, состоящей в любовницах у одного кардинала.

Да, нравы тут царят не протестантские… «Это была красавица

и весьма влиятельная в Риме особа, но принудить себя пресмыкаться я не мог». Он все же делает попытку подступиться к ней как-то на террасе, но успеха не имеет. Дело, однако же, доходит до Папы Бенедикта XIV (того самого, кому Вольтер, хоть об этом часто забывают, посвятил своего «Магомета»), «человека ученого, острого на язык и весьма любезного». Он беседует с Казой, и тот приходится ему по душе:

> «Я испросил у него дозволения читать все запрещенные книги, он дал мне на то свое благословение и посулил подтвердить свою милость письменно, да забыл».

(А жаль — ведь из-за этого мы лишились возможности опубликовать сногсшибательный документ.)

У Лукреции есть семнадцатилетняя сестра по имени Анджелика. Как-то раз сестры ночуют в одной спальне — отличная оказия:

> «Верно, никогда еще не раздевался я так поспешно. Наконец распахнул дверь и бросился в объятия моей Лукреции. „Это мой ангел, молчи и спи!“ — сказала она сестре.
>
> Больше она не вымолвила ни слова, ибо уста наши слились, и ни дыхание, ни речь уж не могли пройти этим путем».

Нетрудно догадаться, что утром настала очередь Анджелики, которой пришлось лишь обернуться (она не сомкнула глаз всю ночь). Лукреция подбадривает сестру.

> «Природный пыл пересилил боль, и Анджелика ощутила лишь блаженство, уступив своему жгучему желанию».

Лукреция рассудительно заключает:

> «Я просветила душу сестры моей. Теперь, вместо того чтобы жалеть меня, она разделяет мою радость и любит тебя. Я уезжаю, но оставляю тебе ее».

Таков *цветистый* стиль Казановы. Но он умеет писать и без затей. В откровенных сценах его рассказ доходчив благодаря точным словам и лишь слегка вуалирующим порно метафорам. Читатель попадает в ловушку: ему приходится самому домысливать некоторые физиологические детали. И одно из двух:

либо он отлично понимает, о чем идет речь (и посмеивается), либо он — чаще она — имеет об этом смутное представление («вы можете говорить все, но не выходя за рамки») и замирает от любопытства. Наш писатель — полная противоположность де Саду. Да, у них общий предмет, поэтому многое повторяется, но у Казановы ни малейшего вкуса к мучительству (напротив, ему приятно доставлять удовольствие). Его магия не черная, а белая (смерть, некрофилия — не по его части). Порой кажется, читаешь книжку из серии «Арлекин» с несколько смещенными акцентами, — тонкое искусство, которое в эротических описаниях опирается на общеизвестность затверженных клише.

Нужен большой талант (Сада или Селина), чтобы замешенное на жестокости и насилии произведение оказалось долговечным. Дарование Казановы ничуть не меньше, но другого рода: он гений плутовского жанра. Все вроде бы тихо и спокойно, но в соседней комнате две сестры «просвещаются» в обществе кавалера. Что произошло? *Нечто.* Все равно что ничего. То есть, разумеется, не ничего, а самое существенное, но так, словно бы и ничего.

Все сочинение Казановы могло бы называться «Руководство по плутовскому искусству».

> «По зрелом размышлении я взял за правило выказывать как в поступках, так и в речах своих сдержанность, так что обо мне разошлось мнение, на мой взгляд, даже несколько преувеличенное, как о человеке, пригодном для важных поручений».

Иллюзии необходимы, видимость должна быть обманчивой. А новая истина всегда пробьется.

Пример — черноглазый красавец-кастрат, который встретился автору в Анконе, — Беллино (что за имечко!). Это действительно юноша, как упрямо твердит он сам, или все-таки девушка? Каза, по его словам, хочет, чтобы это оказалась девушка, но ухитряется сказать об этом так, что у читателей закрадывается сомнение, каково же его подлинное желание. Неопределенная ситуация длится достаточно долго, и здесь ярко проявляется талант Казановы-рассказчика: он задает вопрос вопросов, с которого все начинается (снова привет от Фрейда!), и, как только может, оттягивает ответ. Читатель или читательница опять-таки вынуждены вслушиваться в себя: а готовы ли они ответить с полной уверенностью? Какого на самом деле пола тот, кто перед нами? А мы сами?

У Беллино есть две сестрички: Чечилия и Марина. Их опекает почтенная матушка, и благосклонное Провидение вознаграждает ее, послав ей Джакомо, который охотно занимается девочками,

благодаря чему они получают и удовольствие, и деньги. Но больше всего он желает овладеть Беллино, предварительно, однако, убедившись своими глазами, кто же он есть. Беллино обещает удовлетворить его любопытство, но постоянно откладывает осмотр на следующий день. Еще одна пикантная деталь: в гостинице имеется мальчик-проститутка, который предлагает себя Казе (тот, разумеется, отказывается, но походя хвалит итальянцев, проявляющих в этом отношении терпимость, в отличие от суровых англичан).

Отказы, увертки, недомолвки, как оно всегда бывает, не охлаждают, а только распаляют сластолюбца. Все и всегда дается ему так легко, что препятствие, вместо того чтобы останавливать, действует как возбуждающее снадобье (позднее, в Лондоне, это дорого обойдется Казе). Чем дольше Беллино уклоняется, тем больше желает его (или ее?) наш герой. Интрига закручена безупречно.

Но не грех подлить еще масла в огонь: на сцене снова появляется рабыня-гречанка, которую в прошлый раз герой успел только пощупать. Теперь она принадлежит турку — купцу и судовладельцу. Каза поднялся на корабль посмотреть товар. С ним вместе Беллино, естественно, не подозревающий о том, что они с гречанкой знакомы:

> «Она бросается мне на шею и прижимается к моей груди со словами: „Судьба посылает нам счастливый случай“. Не уступая ей в смелости, я ловко пристраиваюсь и в один миг делаю с ней то, чего ее хозяин не смог совершить за пять лет».

Все это происходит на глазах у Беллино, пока турок отлучился на пять минут. Еще минутки не хватило, говорит Казанова.

Однако хорошо и так. По этому поводу автор излагает свои философские принципы (которые, к сожалению, разделяют далеко не все):

> «Те, кто твердят, что жизнь есть только череда несчастий, тем самым подразумевают, что сама жизнь — несчастье. Выходит в таком случае, что счастье — смерть. Они не сказали бы так, будь они в добром здравии, с полным кошельком в кармане и с довольной душою, едва выпустив из объятий какую-нибудь Чечилию или Марину и твердо зная, что на ее месте будут в дальнейшем многие другие. Нет, это порода пессимистов, которая встречается лишь среди

философов-голодранцев да богословов-мошенников либо же среди страдающих черной меланхолией. Ежели существует удовольствие и ежели насладиться им возможно только при жизни, то, следовательно, жизнь — счастье. Впрочем, бывают в ней и несчастья, мне ли того не знать, однако же они лишь доказывают, что хорошего в мире много больше. Я очень люблю стоять в темной комнате и смотреть в окно на необъятный горизонт».

Беллино, этот пригожий мальчик или же прелестная девушка, упорно отказывается от дознания. Казанова злится, очутившись в роли настырного сыщика. Пенис *or not* пенис? Таков вопрос, задав который автор «Истории» ведет нас за собой на корабль, выказывая себя мастером оркестровки. Искусства композиции у Казановы обычно не замечают. В его записках выискивают «эротические» места, составляют из них томики избранного, копаются в его так называемых слабостях и болезнях, приписывают ему ретроактивный тип подсознания, соответствующий нашим собственным скрытым фрустрациям, но не обращают внимания на логические выкладки; из его «Истории» изымают собственно историю (в обоих смыслах слова). Как будто описание современного ему общества не подходит также к любому обществу любого времени. Например, как будто женщины и до сих пор не содержатся в большей или меньшей степени под надзором и не остаются полными невеждами относительно собственного тела (за некоторыми, всегда одними и теми же исключениями). И разве тиски религии, брака, стихийного деторождения не сменились другими: обязанностью постоянно поддерживать красоту и привлекательность, проходить генетический контроль, перед браком? Обскурантизм меняет обличье, но цель его остается прежней: держать в узде.

Вот одна из причин, по которым Казанова, очутившись на зыбкой почве, прибегает к Провидению. И говорит об этом прямо, признавая свое поведение, по меньшей мере, неправедным:

> «Люди, полагающиеся на Провидение невзирая ни на что, не могут не быть разумными, хотя и преступают границы дозволенного».

Так рассуждали воры во времена Горация. Провидение или Фортуна — слова не имеют особого значения. Бывает и так, что бросок костей упраздняет случай[16]. И главное в жизни — встреча, включая встречу с самим собой.

Джакомо обследует Беллино почти против его воли и натыкается пальцами на нечто. Вполне ощутимую выпуклость.

Огромный клитор? Возможно. Он хочет довести свое «пламенное дознание» до конца. Сидя с кастратом в карете, Каза заклинает его открыть наконец истину (в карете, в пути нередко происходят объяснения, побочные рассуждения, а также активные действия). Если Беллино мужчина, Каза обещает отступиться. Если же девушка, естество возьмет свое. Но Беллино не без тонкости замечает, что уверенность его напрасна и весьма возможно, что он поддастся чувству, которое так решительно осуждает, и окажется влюбленным в мужчину.

Ситуация становится несносной, пора внести ясность.

Что ж, к великому разочарованию принца де Линя, а также многих Иксов. Игреков и Зетов, Беллино оказывается Терезой. Она носит накладной член, который научил ее прилаживать некий талантливый певец-кастрат. Она показывает это приспособление Казе и отдается ему. Он на вершине блаженства (что и понятно после столь долгого томления). И тут старый рассказчик из Дукса уточняет: «Четыре пятых моего наслаждения составляло видимое удовольствие, которое я доставлял ей». Интересное признание.

* * *

Итак, Казанова *выстраивает* свое сочинение, это философ, для которого весь мир — будуар. В то же время он постоянно напоминает нам, что за враждебные силы противостоят ему: глупость, фанатизм. Глупость, говорит он, хуже злого умысла. За злобу можно наказать, взыскать, а над глупостью только вздохнешь да махнешь рукой. Взять хоть служанку, которая уничтожила целую главу его рукописи — собрала и выбросила «испорченные» исписанные листы, а чистую бумагу не тронула. Казе пришлось писать все заново.

Злоба ли происходит от глупости или наоборот? Можно менять мнения на этот счет по три раза на дню (в конце концов, может, та служанка была не такая уж дура, как думал Каза).

И то сказать: писанина — бесовское занятие. Целый день сидеть и водить пером — что это, как не колдовство? Да еще и буквы какие-то непонятные — впору вмешаться инквизиции. Вот Каза на корабле, разражается буря, и тут находится священник, велит матросам молиться и каяться в грехах. Каза в пику ему говорит, что ничего бесовского в грозе нет. Взбешенный священник называет его безбожником, суеверные матросы готовы выбросить его за борт. Каза вынужден отбиваться (иногда приходится и подраться, и он делает это храбро и хладнокровно). Кончается тем, что священник сжигает купленный Джакомо у одного грека пергамент, объявив его сатанинской грамотой. И точно: недаром же он так корчился в огне!

> «Пергамент этот якобы имел свойство внушать всем женщинам любовь к своему владельцу. Надеюсь, читатель будет столь добр и поверит, что я нимало не полагался ни на какие приворотные зелья и купил пергамент этот за пол-экю только для смеха»*.

Здесь ясно видно, что Казанова пишет для будущего читателя, свободного от предрассудков. Найдется ли такой сегодня? Вряд ли. Появится ли завтра? Еще менее вероятно. Для этого нужно, чтобы наступил конец всякой религиозной ограниченности, а пока нет никаких признаков ее исчезновения (даже в умах ученых и убежденных рационалистов). Пруст находит снобизм и садизм как в верхах, так и в низах общества своего времени, Каза, подобно ему, показывает, до чего прочно укоренилась во всех социальных слоях вера в небывальщину. Одни верят в дьявола, другие ищут философский камень. А вся

разница сводится к большей или меньшей примеси сексуальности. Но — любопытно! — сексуальности, которая *сама себя не признает.*

На Корфу Казанова знакомится с мудрейшим турком Юсуфом. Этот мудрец, однако, полагает, что лучшая религия — ислам. Католицизм венецианцев, с его хлебом и вином, — причуда, которая не может прижиться повсеместно. Коран же, вне всякого сомнения, универсален, и, дабы обратить заблудшего чужеземца в истинную веру, Юсуф предлагает ему свое состояние и свою дочь, при условии, конечно, что он выучит арабский и станет мусульманином. Наш искатель приключений не прочь разбогатеть, но женитьба и перемена религии не входят в его планы.

Покрывало, чадра не в его вкусе. Единственная эротическая нотка во всей этой части записок — сцена, когда Каза и его спутник, глядя из потаенного места, как купаются при луне обнаженные девицы, предаются мастурбации.

Но бывает чадра внутренняя. Взять, например, госпожу Ф. — она упорно отвергает домогательства Джакомо. И этого достаточно, чтобы он превратился в изнывающего от любви трубадура, неловкого Керубино:

> «Коли влюбленный не сумел ухватить Фортуну за волосы, дела его плохи».

Чем сильнее разгорается его страсть, тем меньше шансов на успех — классический случай. Чтобы добиться внимания г-жи Ф., он притворяется хворым. Хитрость удается — женщины любят ухаживать за больными, таково их общее свойство. Г-жа Ф. позволяет ему поцеловать себя (поток избитых слов: «нектар», «блаженство» и т. д.). Осторожный Каза становится чуть ли не скучным. Дело доходит до мимолетных ласк, вот уже дерзкие пальцы забывают о скромности… Но тут — стоп! «Любезный друг, еще миг — и мы погубим себя». Предполагается, что читателю знакомы все эти жеманные выкрутасы.

Обычно Каза лечится от любовных ран в нечистых объятиях куртизанок. Вот и на этот раз он подхватил дурную болезнь от некой Мелуллы. Можно подумать, чтобы прийти в себя, ему требовалась зараза. На том дело и кончилось. Отказывается он и от военной карьеры. Снова Венеция, теперь Каза является в родной город скрипачом.

* * *

И вот важный поворот жизни.

После всяческих бесчинств в компании друзей, таких же распутников, как он сам (по ночам они терроризируют почтенных обывателей Венеции), удача делает Казанове знак. Имя удачи — Брагадин, пятидесятилетний холостяк патриций. Обстоятельства: у Брагадина, садящегося в гондолу, приступ апоплексии. Джакомо, случайно оказавшийся рядом, старается помочь, доставляет больного в его дворец, вмешивается, видя, что его плохо лечат, сам выдает себя за лекаря, включается в игру. Фортуна указывает ему путь.

> «И вот я лекарь одного из самых знаменитых венецианских сенаторов».

Постепенно все упорядочивается. Брагадин и двое его друзей, Дандоло и Барбаро, — приверженцы «абстрактных наук», иначе говоря, страстные поклонники эзотерики. При этом все трое — люди верующие, суровые, аскетичные, крайне враждебно относящиеся к женщинам (это можно было предвидеть). И вот является добрый ангел, молодой Казанова, наверняка куда более ученый, чем кажется с виду, и, может быть, даже движимый сверхъестественными силами. Брагадин спрашивает его об этом:

> «Именно в эту минуту, опасаясь, если я скажу ему, что он ошибается, задеть его тщеславие, я нашел странный выход и сделал ему в присутствии двоих его друзей безумное и ложное признание, будто я владею цифровым шифром; с помощью этого шифра, задав на бумаге вопрос, который я записываю цифрами, я в цифрах же получаю ответ, сообщающий мне все, что я желаю знать и о чем никто в мире не мог бы меня уведомить. Господин де Брагадин объявил, что это — „Ключ Соломонов“».

Ни больше ни меньше. Каза заявляет, что «цифровой шифр» ему открыл один испанский отшельник, но какое это имеет значение? Его собеседники жаждут одного — ему поверить. Так начинается новая жизнь Казановы, вдохновенного иллюзиониста. «Каббалистика» Казы, состоявшая в том, чтобы быстро перевести буквы в цифры и почти наугад сочинить ответные цифры, превращаемые в слова, на самом деле строилась на энергичном упражнении памяти. Здесь мы попадаем в самый центр нервной системы Казановы, в его умственный гимнастический зал, в его лабораторию метаморфоз. Ибо непрерывный кадрёж и картёж — всего лишь подготовка к глубокой психологической активности, к

медиумическому проникновению.

«Ключ Соломонов» — это наставление в магии, которое учит, как получить власть над духами ада и обитателями стихий (гномами, ундинами, сильфами, саламандрами). Книга была напечатана сначала на древнееврейском, потом на латыни. Гёте упоминает о ней в своем «Фаусте». Каза читал, конечно, и другие книги, позднее их конфискуют у него во время ареста. Особенно его вдохновлял Агриппа Неттесгеймский. Но главное, он понял: людей обуяло повальное увлечение магией, а в нем самом есть что-то, какая-то «оккультная сила», которая отвечает этой потребности. Его охватывают порывы внезапного вдохновения, озаряют необъяснимые вспышки интуиции, он чувствует в себе магнит (и чувствует не без оснований). Можно понять и то, почему «обмирщая» свои числовые действа, он интересуется игрой не только в узком, но и в более широком, публичном смысле — всякого рода лото, лотереями, всевозможными комбинациями. Казу можно назвать структуралистом до структурализма. Он задумал также смелый международный проект «грамматической лотереи», которая могла бы стать источником государственных доходов (а какое государство не нуждается в деньгах?), оживила бы деятельность банков и вдобавок послужила бы своеобразной «школой», развивающей способности широких кругов населения к чтению и письму.

Пророк Казанова! Разве мы не видим сегодня серии популярных телепередач, где идет игра с цифрами, буквами, орфографией, с колесом Фортуны, с вопросами, ответы на которые надо искать в словарях, в водоворотах культуры?

И снова воздействие написанного. Каза имеет дело с духом: не то демоном, не то ангелом (имя его *Паралис*[17], в нем звучат: *paradis* — рай, *lire* — читать, *lys* — лилия), который проявляет себя в написанном. Сами того не подозревая, вы написаны, это написано, это пишется, духи выражают себя цифрами, но цифры можно перевести в предсказания, даже стихотворные. Патриции восхищены. Поскольку во всяком обдуманном вопросе уже содержится ответ, достаточно организовать перспективу (составить из цифр обратную пирамиду). Неслыханные истины, о которых не подозревал сам маг, сыплются как из рога изобилия. Каза признается: он отвечает почти наобум, и однако — в этом вся хитрость — вовсе не наобум.

Этот Казанова — сокровище. Брагадин нарекает его своим «сыном». Отныне он — придворный иерофант, у него есть деньги, кров, его кормят и обихаживают. Скрипач без всяких надежд на будущее стал сеньором.

Джакомо прекрасно сознает, что плутует, но самое

удивительное, что он описывает свои плутни, чего не делал и никогда не сделает ни один шарлатан. Он объясняет их совершенно безыскусно:

> «Я принял самое прекрасное, благородное и естественное решение: жить так, чтобы больше не нуждаться в необходимом».

Иными словами: я беден, но обладаю даром, который использую по своему разумению, хотя мог бы, по примеру многих других, поступить куда подлее и разорить моих покровителей. Объяснение более изощренное: человечество верит и всегда будет верить в чудодейственный порошок, и самые опасные шарлатаны как раз те, кто уверяет, будто оно в силах освободиться от этого наркотика. Порошок меняет форму, чудодействие остается. Философ должен это понимать и принимать как данность. Кто сказал, что век Просвещения был оптимистическим? Только тот, кто не читал Вольтера или популяризирует Вольтера, фальсифицированного господином Оме[18].

Патриции непоследовательны? Мудры и при этом доверчивы? Ничего удивительного. И однако все (кроме Казы) будут удивляться этому противоестественному содружеству:

> «Они — само небо, я — весь в мирском; они — люди строгих нравов, я — самый отчаянный распутник».

Словом, жизнь прекрасна.
Автопортрет художника и игрока:

> «Достаточно богатый, наделенный от природы привлекательной внешностью, смелый игрок, транжира, острый на язык краснобай, не страдающий излишней скромностью, храбрец, любитель хорошеньких женщин, без труда устраняющий соперников, готовый водить компанию лишь с теми, кто меня забавляет, я не мог не вызывать ненависти».

Нелицеприятно.

> «Играть меня заставляла жадность; я любил мотать, но не жалел только тех денег, которые принесла игра. Мне казалось, что деньги, которые я выиграл, ничего мне не стоили».

Проницательно, откровенно.

«Люди удивляются, что есть на свете предатели-ханжи, которые поручают себя покровительству своих святых, а потом благодарят их за то, что предательские планы удались. Удивляться нечему. Чувства этих ханжей похвальны, ведь они противостоят атеизму».

Дерзость, юмор.

Каза рассказывает нам, что старик Брагадин в молодости «совершал безумства из-за женщин, которые, в свою очередь, совершали их из-за него». Он также «много играл и проигрывал». Он «красив, учен, любит шутку и отличается редкой кротостью нрава». Лучшего отца для приемного сына двадцати одного года от роду и пожелать нельзя. Тем не менее в обыденной жизни рассуждениям этого отца-покровителя свойственна «странная смесь светской политики и лжеметафизики». Но не будем роптать; он любит своего Казу, все ему прощает, на многое закрывает глаза, платит карточные долги. А сын продолжает свои похождения, по-прежнему предпочитая юных дебютанток. И вот как раз одна из них, Кристина: ей помогают, ее просвещают, соблазняют, и наконец соблазнитель сам же выдает ее замуж. Каза очень любит такое полюбовное решение проблем. Все довольны, комедия продолжается.

Однако Джакомо перегибает палку (ему быстро все приедается). Так, например, желая кому-то отомстить, он отрубает руку мертвецу и вкладывает ее в объятия спящему врагу, который умирает от испуга. Случай щекотливый, начинается ропот. Разумнее на время куда-нибудь уехать.

Чтобы «следовать воле Божьей», лучше идти в обход, прибегать к разнообразным уловкам. Представляется случай устроить розыгрыш? Извольте! Здесь, например, продают псевдореликвию — ржавый кинжал, которым святой Петр якобы отрезал ухо одному из служителей первосвященника; достаточно сфабриковать для кинжала ножны в духе того времени, и подделка ни у кого не вызовет сомнений. А там крестьянин ищет сокровище, зарытое в его земле. Прекрасно, с помощью магических заклинаний мы ему это сокровище найдем, тем более что у крестьянина хорошенькая дочка и имя у нее прелестное — Жавотта. Заставим девушку искупаться под предлогом ритуального очищения. После чего разыграем целое представление: на земле очертим круг, начнем заклинание духов, абракадабра, буря, молния и т. п. (И тут в самом деле сверкает молния — это один из тех редких случаев, когда Казанова признается, что испугался.)

Но все это вздор, который не сравнится с любовью. И любовь

тут как тут. Предмет ее, как можно было ожидать, оказывается французским (и даже провансальским). Неужели речь идет о мужчине? Как будто да. Да нет же, вас снова обвели вокруг пальца, перед вами «растрепанная, смеющаяся головка», *умная* женщина. К тому же красотка и вдобавок из прекрасной семьи. Что же она делает на дорогах, в одежде профессионального игрока и в компании немолодого офицера?

Казанова загорается; сам того не сознавая, он мечтает о ней, он «влюблен до безумия». Вы узнали Генриетту, реальный и загадочный образ, пленявший всех казановистов.

> «Что за ночь! Что за женщина эта Генриетта, которую я так любил! Которая дала мне такое счастье!»

Здесь самоцензура. Стыдливость. Никаких физических уточнений. Каза поглощен, подчинен. Чародей сам подпал под чары. Девиз *Sequere Deum* нашел себе достойный отклик в Вергилиевом девизе Генриетты и ее семьи *Fata viam invenient* (судьба указывает путь).

Конечно, большую роль тут играла разница в их социальном положении, но главное, культура и ум Генриетты, аристократки, которая ненадолго стала искательницей приключений, но которой вскоре вновь предстояло обрести подобающий ей ранг и вернуться к правилам благопристойности. Когда они вдвоем останавливаются в Парме, Каза записывается под фамилией своей матери, Фарусси, обходясь без комментариев. У Генриетты нет другой одежды, кроме мужской; он покупает для нее роскошные женские наряды, он считает ее своей женой. Парма в это время ждет прибытия супруги инфанта, герцога Филиппа, Луизы-Елизаветы — это старшая дочь Людовика XV, французская принцесса крови. Город кишит французами, итальянцами. Пьянящая французская атмосфера.

> «Те, кто не верит, что одной женщины довольно, чтобы мужчина был счастлив двадцать четыре часа в сутки, никогда не встречали женщины, подобной Генриетте».

Они болтают, смеются, развлекаются. Генриетта философствует о совершенном счастье: «Мужчина счастлив лишь тогда, когда сознает себя счастливым, а это возможно только в покое». Женщина, которая прославляет *покой,* — это мечта. «Там красота, и свет, и счастье, покой, и лад, и сладострастье»[19]. И Каза восклицает: «Блаженны любовники, которым ум может заменить чувственность, когда чувственности нужно отдохнуть!»

Мысль, годная на все времена, но воплотить ее удается редко.

Это сочетание (стыдливость, веселье, легкость) пленяет Джакомо новизной, кульминация настает, когда как-то вечером Генриетта неожиданно демонстрирует своему другу, что виртуозно играет на виолончели. Женщина-виолончелистка! Монастыри это запрещали, находя движения виолончелиста неприличными. Нет, это слишком прекрасно! Каза потрясен, он выбегает в сад, он заливается слезами. Любовь-целительница оказывается еще и любовью-музыкантшей. Мы часто забываем, что *свободная любовь* (потрясающее выражение) — это еще и название французского музыкального произведения.

Но Генриетте пора возвращаться домой. Джакомо провожает ее до самой Женевы. Трогательное прощание завершается неожиданно безразличным письмом, в котором она просит, чтобы он никогда не искал возможности вновь ее увидеть. И знаменитая надпись, нацарапанная бриллиантом на стекле: «Ты забудешь и Генриетту». Нет, он не забудет, да и она не забудет тоже (Генриетта будет издалека следить за ним). Но, так или иначе, он *покинут,* отсюда депрессия, новая венерическая болезнь. На короткое время Каза даже впал в набожность. Но вот какой вывод делает по ходу повествования писатель из Дукса:

> «Я нахожу, что жизнь моя была более счастливой, нежели несчастной, и, возблагодарив за это Бога, причину всех причин, неведомо каким образом всевластно распоряжающегося всеми обстоятельствами, я поздравляю самого себя».

Таков Господь Казановы: ему воссылают благодарность, а потом поздравляют самого себя.

Сифилис лечат ртутью, набожность — иронией.

Генриетта явилась как вестница Франции, ей нашлось бы место среди героев «Пармской обители» (Стендаль опубликует свой роман в 1839 году, то есть через сорок один год после смерти Казановы). Прежде чем прочно обосноваться в этой стране (наконец-то!), Каза побывает в Лионе и вступит в масоны.

> «Нет в мире человека, который сумел бы все познать; но всякий человек должен стремиться к тому, чтобы познать все»*.

Многими последующими знакомствами Каза будет обязан этому приобщению, хотя нередко нити, связывающие его с другими людьми, останутся тайными. Это, впрочем, не относится к его отношениям с герцогиней Шартрской, с которой он

занимался *каббалистикой.* Вместе с Казой мы открываем Париж времен Людовика XV (который «был велик во всем и не имел бы вовсе изъянов, когда бы льстецы не принудили его их приобрести»). Эти строки не означают, что их автор — монархист, Джакомо вообще аполитичен. Под конец жизни, насмотревшись на ужасы Террора, он задумается, не лучше ли деспотизм одного, иной раз просвещенного, государя, чем деспотизм народа, рубящего головы (на этот вопрос так и нет ответа). Но в ту пору для двадцатипятилетнего Казановы главное в Париже — Опера, кулисы, бордели (такие, как блестящий «Отель дю Руль»). Сам король, желающий, чтобы его звали Людовиком Возлюбленным, задает тон своим Оленьим парком[20], который до сих пор дает пищу буйной фантазии мастеров мирового кинематографа. Забавы с тринадцатилетними девочками сегодня вызвали бы негодование как преступная педофилия. Послужила ли юная О'Морфи[21] моделью для знаменитой картины Буше? Во всяком случае, она действительно была содержанкой короля и родила бастарда.

И все же во время этого пребывания в Париже Каза остается в тени. Герцогиня Шартрская, любительница магии и либертинка, держит его при себе как советчика и целителя (у нее на лице венерические прыщи, но соблюдать предписанную диету она не желает). Каза поражает ее своими пирамидами и вещающим ангелом и ловко ею манипулирует. Герцогиня вопрошает его как оракула и, по его словам, находит в его ответах множество истин, которых он сам «знать не мог».

И снова в дорогу: сначала в Дрезден (где много опытных, но холодных профессионалок), потом в Вену.

> «Все в Вене было прекрасно, повсюду богатство и роскошь, но поклонникам Венеры чинилось тут утеснение».

Кто же ополчился против Венеры? Мужчина? Нет, женщина. Императрица Мария-Терезия доходит в своем маниакальном рвении до того, что заводит особую полицию с целым штатом «комиссаров целомудрия» *(sic!).* Она высылает из города проституток, неверных жен и даже девиц, показавшихся на улице без приличного сопровождения (или же они должны держать в руках четки в знак того, что направляются в церковь). Императрица обрушивает громы и молнии на гнездо разврата Темишвар, нынешнюю (недоброй памяти) Тимишоару[22] в Румынии. Тогда вместо Венериных распространяются азартные игры, Царица Ночи запрещает и их.

В Вене Казанова впервые всерьез схватывается со смертью. У

него расстройство желудка, ему очень плохо, лекарь непременно хочет отворить ему кровь, но Каза чувствует, что это погубит его, и отказывается. Лекарь настаивает и пытается сделать надрез насильно. Но у Казы хватает энергии дотянуться до лежащего на ночном столике пистолета и выстрелить. Исцелился он после того, как выпил много воды.

> «Я отправился в Оперу, и меня окружило множество людей. На меня смотрели как на человека, сумевшего отогнать смерть пистолетным выстрелом».

Любовь под запретом и врачи-душегубы? Снова искусная композиция. В рассказе проступает философия. А сам рассказ — живая жизнь.

Но вот приходит известие: проступки Казы забыты, ему разрешено вернуться в Венецию. Он снова у себя дома:

> «Мне не терпелось возобновить прежние мои привычки, сделавшись, однако, более основательным и воздержанным. С удовольствием нашел я в кабинете, где прежде спал и писал, свои бумаги, покрытые слоем пыли, — верный признак, что никто за три года сюда не заходил».

«Пыль мне друг», — говорил Пикассо.

Так и видишь, как наш искатель приключений с бьющимся сердцем открывает дверь, видит свою кровать, свой рабочий стол, свои тетради и проводит кончиком пальца по слою пыли. Такой Казанова, молодой, отважный, свободный, трогательный, никак не устраивает почитателей театрального персонажа.

* * *

Ей четырнадцать лет, сегодня мы знаем, что ее звали Катарина Капретта. Она едет по дороге в карете, карета опрокидывается, оказавшийся рядом Каза бросается к падающей девушке, подхватывает ее, на мгновение заметив мелькнувшие под юбками «все ее тайные прелести» (мы помним, что по этой фразе прошлась цензорская рука профессора Лафорга).

Это та пресловутая К.К., которая с не менее известной М.М. (Мариной Марией Морозини) станет одной из солисток великой оперы под названием «История моей жизни».

Заметим мимоходом, что исследователи Казановы долго и усердно пытались установить, кто же скрывается за инициалами

М.М., но удалось это сделать только в… 1968-м (совпадение дат приводит меня в восхищение).

М.М. и К.К. очень скоро окажутся вместе в монастыре XXX. Каза предпочел записать имена обеих женщин этими буквами. Займемся по его примеру некоторой каббалистикой:

MMCCXXX[23]

Быть может, «Историю моей жизни» по-настоящему прочтут только в 2230 году.

Не забудем, что Стендаль надеялся, что его прочтут около 1936 года.

У К.К. есть брат, П.К., личность весьма сомнительная — он сразу почуял, какую выгоду можно извлечь из любителя «тайных прелестей» (Джакомо двадцать восемь лет, возраст самый жениховский). П.К. хочет продать сестру этому претенденту. И довольно глупым образом пытается толкнуть ее к разврату. Каза, которого приняли за новичка, в ярости — он берет на себя защиту невинности. И его зарождающаяся любовь к К.К. становится «неодолимой».

Он увозит свою очаровательную подружку в сад на остров Джудекка. Там они бегают по траве наперегонки — выигравшему достаются ласки, но вполне невинные, ничего серьезного, она же ребенок.

«Чем больше я убеждался в ее невинности, тем труднее мне было решиться ею овладеть».

Жениться? А в общем, почему бы нет? Но пусть свидетелем нашего брака станет Бог, этот ненасытный вуайёр. В этом будет вся пикантность сцены. И вот парочка возвращается на постоялый двор. Дело происходит на острове, в понедельник после Троицына дня. В постели:

«В экстазе от обуявшего меня восторга, я пожирал пламенными поцелуями все, что видел, перебегая от одного места к другому, не в силах задержаться ни на одном от жадного желания быть сразу повсюду и сожалея о том, что мои губы отстают от моих глаз».

Джакомо швыряет нам здесь в лицо десяток клише, но клише весьма обдуманных, поскольку они призваны изобразить его ненасытным животным, хищником (и мы видим, насколько ошибочен, хотя его всячески и пытаются отстаивать, классический тезис, что Казанова якобы был всего лишь «игрушкой» женских желаний).

Но шутки в сторону, речь идет о дефлорации, а это шокирует многих матерей, даже феминисток, и вызывает сомнения, а иногда и судороги зависти у мужчин.

> «К.К. героически стала моей женой, как и подобает каждой влюбленной девушке, потому что в наслаждении, когда осуществляется твое желание, упоительно все, даже боль. Целых два часа я не расставался с нею. Она изнемогала снова и снова, а я причащался бессмертию».

Мы прочитали именно то, что написано: не какое-нибудь там «обмирал», а «причащался бессмертию». Без сомнения, тут не обошлось без участия Бога. Конечно, бога греческого, и удивляться тут нечему. В это самое время в Венеции происходит церемония, во время которой дож на своей галере «Буцентавр» выходит в открытое море и брачуется с ним[24] (при плохой погоде действо опасное). Однако чуть ниже: «Упав замертво, мы уснули».

И на другое утро: «Больше всего выдавали нас глаза моего ангела. Под ними были такие громадные синяки, словно ее избили. Бедное дитя выдержало битву, которая, несомненно, ее преобразила».

Итак, Джакомо «женат» (слава богу, только перед Богом). Само собой, дебютантка сразу бросается в крайность и хочет забеременеть (так и случится, хотя и ненадолго). Они и впрямь в результате пережитой сцены совместно пришли «к принятию той смерти, которая есть источник жизни». Брат-сутенер, все более чуя выгодное дельце, одалживает у Казы деньги, но попадает за долги в тюрьму. Джакомо, торжественный, как Папа Римский, просит своего покровителя Брагадина содействовать тому, чтобы брак состоялся и в самом деле. По счастью, разгневанный отец К.К. отправляет четырнадцатилетнюю дочь ждать брачного возраста в монастырь Санта-Мария-дельи-Анджели.

Идиллия Казы прервана в самом ее разгаре. Тем лучше, потому что завязывается другой сюжет, который можно было бы назвать «Ангелы Мурано». Речь идет об одном из самых известных эпизодов «Истории», которая вообще содержит в себе не менее двадцати великолепных романов и сотню новелл, одна лучше другой.

Декорация меняется. Встречаться больше нельзя, друг другу тайком пишут письма, которые передают специальные посредники. Каза в отчаянии, он строит планы похищения, но это не так просто. Время приобретает другое измерение, поскольку надзирательницы в монастыре «измеряют время на вес золота». Однако кое-чего удается добиться:

> «К.К. сообщила мне в очень забавной манере, что самая красивая из всех монахинь любит ее без памяти, что она два раза в день дает ей уроки французского

> языка и запретила завязывать знакомство с другими пансионерками… Она писала, что та осыпает ее поцелуями, к которым я мог бы приревновать, будь монахиня другого пола».

Читатель знаком с Дидро, а может быть, и с де Садом. Он, конечно, уже готов сделать выводы, и зря. Именно в этой истории Казанова неистощим в своей фантазии и двусмысленности. Мы так в точности и не узнаем, он ли диктует в намечающейся интриге правила игры. Наверно, и да и нет.

Этого и следовало ожидать — у К.К. начались преждевременные роды (если только это не аборт). В ту пору в монастыре подобный случай, даже если его замяли, дело нешуточное. Теперь Каза в виде весточек получает от своей юной любовницы, «жены», по-прежнему считающей его своим мужем, только плоды ее кровотечения. Ему вручают странные подарки, свертки окровавленного белья (кровь — его исходная экзистенциальная тема). Сводница приносит все это ему домой.

> «Я задрожал, когда эта добрая женщина показала мне в кровавом месиве маленький бесформенный сгусток».

Сам Джакомо в детстве был таким же сгустком, бесформенным, кровянистым, глупым. С тех пор у него появилось, так сказать, «тело-рубеж», и он всегда внимательно следит за его секрецией, за его хрупкой оболочкой. Впрочем, будь по-другому, он бы меньше наслаждался. Игра, распутство, сочинительство — вот инструменты этой хрупкой телесности.

Чтобы возлюбленная, которая чуть не умерла, могла его увидеть, Джакомо ходит теперь к мессе в часовню монастыря. Над алтарем ему бросается в глаза «Благовещение» с Девой, раскрывающей объятия. Часто посещая службу, он становится «загадкой монастыря». Монахини делают вид, что не смотрят, но видят всё. Их разбирает любопытство. А Каза, хоть он и выигрывает в карты, худеет и скучает.

Вот почему он устраивает неподалеку от площади Святого Марка свое «казино» — это квартирка во вкусе не желающих выставлять свою жизнь напоказ патрициев и развратников. Баффо описал нам этот тип «домов свиданий» (как называли их в Париже), где уже в прихожей чувствуются ароматы лимона, апельсина, розы, фиалки и где стены украшены непристойными картинками. Казанова в своем казино: язык забавляется — Казиново.

Теперь очередь Казы стать объектом домогательства, да еще

какого настойчивого!

В ту минуту, когда он выходит из монастыря после мессы, какая-то монахиня передает ему письмо, в котором назначает Казе свидание. Он может встретиться с ней в монастырской приемной или в домике свиданий на Мурано. А если угодно, она явится вечером в Венецию.

На сцене, пока еще анонимно, появляется М.М. Само собой, это и есть та «самая красивая из монахинь», которая учила французскому К. К. Проболталась ли последняя? Джакомо не хочет этому верить, и его возможное заблуждение составит с этой минуты нерв интриги.

Он отвечает на письмо и, опасаясь «ловушки», местом встречи избирает монастырскую приемную: «Я венецианец и свободен во всем значении этого слова».

Выбор монахини пал на Казу исключительно благодаря его внешности. (Если только о нем не рассказала К.К., что нам, читателям, представляется весьма маловероятным.) Вообще Казу удивить нелегко, и все же: «Я был крайне удивлен тем, как легко эти святые девственницы могли покидать монастырь». Но если они могут обманывать надзирательниц, почему бы им, следуя незыблемому правилу войны полов, не обмануть и его самого? Нетрудно себе представить, как М.М. исповедует юную К.К., в особенности после истории с окровавленным бельем. И все это на фоне изучения *французского языка.* Продолжение романа подтверждает эту гипотезу.

М.М. появляется в приемной. Она хороша собой, довольно высокого роста, «с белой до бледности» кожей, манеры «благородные, решительные и в то же время сдержанные и робкие», «лицо нежное и смешливое» и далее в том же роде. В этот раз он не увидел ее волос (она шатенка). У нее большие голубые глаза (К.К. — блондинка с карими глазами). Особенно поражают Казу кисти ее рук и предплечья: «Ни одной жилки, а вместо мускулов — сплошные ямочки». Ей двадцать два года. Она *пухленькая.*

Каза приходит снова, она не является. Он унижен, он попался на крючок. Он решает отступиться:

> «Облик М.М. произвел на меня такое впечатление, что стереть его могло только самое могущественное абстрактное существо — время».

Ну, ну, не будем торопиться, тайная переписка возобновляется, все улаживается. И тут в разговоре впервые всплывает персонаж, с которым нам вскоре предстоит познакомиться, — это любовник М.М. Стало быть, у нее уже есть

любовник?

> «Да, он богат. Он будет в восторге, видя, что я нежна и счастлива с таким любовником, как вы. Это в его духе».

Джакомо не только не разочарован, но воспылал еще пуще прежнего: «Мне казалось, я никогда еще не был так счастлив в любви». Бедная малышка К.К.! Иметь такого ветреного «мужа»! Но погодите, она еще появится, когда того потребует сюжет представляемой оперы.

Животной природе человека, хладнокровно рассуждает Каза, присущи три основные страсти: утоление голода, стремление к совокуплению, которое обеспечивает продолжение рода и к которому прилагается наслаждение, и ненависть, подталкивающая к истреблению врага. Животное глубоко *консервативно*. Но, получив в удел разум, оно может позволить себе разнообразие. Оно становится гурманом, сладострастником и более склонно к жестокости:

> «Мы терпим голод, чтобы полнее насладиться жарким, мы оттягиваем любовное наслаждение, чтобы острее его почувствовать, и откладываем месть, чтобы разить неотвратимее».

Наш искатель приключений завершает свое образование.

Венецианские женские монастыри той эпохи — прославленный садок галантных похождений. Множество девушек, отнюдь не монахинь, «ждут там своего часа». Хотя за ними установлен надзор, при наличии денег и связей они по ночам могут украдкой покидать стены монастыря. Обязательно в маске. И вернуться надо засветло, для чего есть пособники. Гондольеры в курсе дела, государственные инквизиторы тоже. Следует только соблюдать меру: никаких скандалов, никакого шума. Когда в Венецию, например, прибывает папский нунций, три монастыря соревнуются друг с другом, чтобы поставить ему любовницу. Воздух полнится разведданными, это подогревает соперничество. Монахиню выбирают, как выбирают высокого полета куртизанку, роскошную гейшу. Дипломаты участвуют в игре, а любовник М.М. как раз дипломат, ведь это посол Франции, аббат де Бернис.

Аббат де Бернис — образованный либертин (он выведен в «Жюльетте» маркиза де Сада). При этом он второразрядный, хотя и религиозный, поэт (а может, именно поэтому и второразрядный). Пожалуй, он красив, его прозвали Красотка Бабе. Вольтер называет его Цветочница Бабе.

Вольтер («Мемуары»):

> «В ту пору править государством было привилегией поэзии. В Париже был еще один поэт, человек знатного происхождения, очень бедный, но весьма любезный, словом, аббат Бернис, ставший с тех пор кардиналом. Он дебютировал стихами, направленными против меня, а потом стал моим другом, что не принесло ему никакой пользы, но зато он стал другом мадам де Помпадур, и это оказалось куда полезнее».

Таков любовник М.М., который не будет возражать, если она возьмет в любовники и Казанову. Вскоре Бернис станет известен всей Европе, подписав с Австрией договор, направленный против Фридриха Прусского. Это своего рода месть Фридриху, поскольку тот когда-то написал стихи, которые злорадно вспоминает Вольтер и в которых есть такая строка о Бернисе: «Не соблазнись его бесплодным изобильем».

Как известно, мадам де Помпадур косвенно участвовала в подписании договора. Так что ее тень витает где-то здесь, «на самом верху», в Венеции. Понятно, что Казанову воспламеняет такая «крыша».

Словом, М.М. приглашает Казу отужинать в гнездышке для свиданий, которое Бернис устроил на Мурано. На первый раз они ограничиваются флиртом: «Я лишь то и дело глотал ее слюну, мешавшуюся с моей».

В следующий раз встреча окажется куда более проникновенной. Джакомо, однако, удивлен, что гнездышко набито антирелигиозной и эротической литературой. Впрочем, пылкая красотка монахиня рассуждает как философ:

> «Я стала любить Бога только после того, как избавилась от представления, какое мне о нем внушила религия».

Теперь эта пластинка уже заиграна, но интересно, что сказал бы истинный распутник сегодня. Может быть, такие слова: «Я начал любить наслаждение только после того, как избавился от представлений, какие мне внушила о нем сентиментальная или порнографическая продукция. Спастись от этого нового опиума нелегко. Истинный порок требует большой сдержанности, утонченности, вкуса. Приходите завтра вечером, и мы всласть посмеемся над всеобщим безобразием, над мафией, над деньгами, над кино, над массмедиа, над так называемой сексуальностью, над искусственным осеменением, над

клонированием, над эвтаназией, над Клинтоном, над Моникой, над виагрой, над фундаменталистами с бородой и без оной, над сектами и псевдофилософами».

Каждому моменту истории присущ свой способ преступать запреты. Распутницу монахиню в наши дни представить себе невозможно (впрочем, кто знает). Зато в середине XVIII века, в минуту торжества католицизма и *притом* Просвещения (вся загвоздка в понимании этого *притом),* это внешнее противоречие расцветает пышным цветом. Вскоре М.М. предлагает Казанове сделать так, чтобы ее прелат-посол, спрятанный в потайном кабинете, смог полюбоваться на ее с Казановой любовные баталии. Казанова должен вести себя как ни в чем не бывало. Любовники — превосходные актеры. Настолько, что в какой-то момент у Казановы начинает *кровоточить* орудие любви. Впоследствии мы узнаем, что будущий кардинал де Бернис остался очень доволен просмотром порнофильма *live*, который показали ему персонально.

Продолжение программы не заставило себя ждать. К.К., это четырнадцатилетнее чудо, была без околичностей «посвящена в сапфические таинства» (те самые, которые как наваждение преследуют рассказчика «В поисках утраченного времени»). М.М. также приобщила ее к «великой метафизике», и она сделалась *вольнодумной.* Что до М.М., то она теперь не колеблясь, словно из вызова, является вечером в маске в Венецию и посещает с Казой Оперу и игорные дома. Впрочем, дело происходит в разгар карнавала, время ускоряет свой темп:

> «Я провел два часа, играя по маленькой, переходя от стола к столу, выигрывая, проигрывая, совершая всяческие безумства и чувствуя себя совершенно свободным и телом и душой, уверенный в том, что никто меня не знает, наслаждаясь настоящим и презирая будущее и всех тех, кому нравится посвящать свои умственные усилия унылому занятию — его предвидеть».

Вот уж кто никак не похож на протестанта. Итак, Джакомо безумствует, нарядившись в костюм Пьеро, однако ему предстоит получить урок распутства.

Вообще-то у него назначено ночное свидание с М.М. Но на ее месте оказывается К.К. в одежде монахини. Пьеро потрясен. Он даже всплакнул. Само собой, Бернис и М.М. присутствуют при этой сцене в качестве невидимых вуайёров. К.К. урезонивает Казу, объясняет ему, что ничего страшного не произошло, что они обе его любят и эта шутка на самом деле — сюрприз и подарок. Подруги были уверены, что доставят ему удовольствие.

Так она очень ловко подготавливает его к последующим сценам.

Удивляться не приходится. Каза уступает, примиряется с М.М, которая напрашивается к нему на ужин вместе с Бернисом, уже не прячась под маской. Прекрасный вечер, отличное угощение, разговаривают о всякой всячине. А почему бы не поужинать вчетвером: М.М., К.К., Бернис и Казанова? Встреча назначена, но в последнюю минуту оказывается, что Бернис занят и не придет, и вот наконец перед нами главная сцена: Казанова со своими двумя любовницами.

> «Я поздравил их со взаимной склонностью и увидел, как они обрадовались, что им не надо ее стыдиться».

Они вместе просматривают эротические эстампы «Дамской академии». И за работу. «Они принялись за дело с яростью двух тигриц, готовых, кажется, пожрать друг друга». (Здесь, как мы помним, в текст вторгаются ножницы профессора Лафорга.)

> «Все трое опьяненные сладострастием, в порывах исступления мы увечили все видимое и осязаемое, чем наделила нас природа, пожирая все, что представало нашему взору, и сделавшись все втроем одного пола во всех трио, которые мы исполняли. За полчаса до рассвета мы расстались, усталые, измученные, обессиленные, утоленные и униженные тем, что должны это признать, однако же не разочарованные».

Кто в эту минуту направляет игру? М.М., чтобы подогреть желания Берниса? Бернис, чтобы поразвлечься? К.К., которая, вероятно, надеется с помощью Берниса подняться по ступеням социальной лестницы? Казанова, который, без сомнения, лелеет такие же планы? Внимательный читатель обратит внимание, что во время этой «яростной» схватки ни одна из двух женщин не просила Казанову «быть поосторожнее», то есть каждая шла на риск, что он ее «обрюхатит», как тогда говорили. Так что же, Каза выступает в роли жеребца-производителя за счет Берниса? Все вместе — и то, и другое, и третье. С этим квартетом, над которым витает образ мадам де Помпадур, мы и впрямь оказались в сердце-вине существования, понимаемого как тайная дипломатия.

М.М, конечно, все рассказала Бернису, который тоже желает насладиться трио с двумя ангелами. Казе это не по вкусу, но, говорит он, они меня убедили, я им кое-чем обязан, я должен «проглотить пилюлю» *(sic!)*. Бернис получает свой сеанс

мимикрии, будет и еще один, когда парочка М.М. — Каза расположится с одной стороны, а парочка К.К. — Бернис — с другой (Бернису не нравится, чтобы кто-то видел его за трудами). Чего тут только нет — и деньги Берниса, и более или менее притворная истома двух дам, и «влажный корень» обоих мужчин. Есть тут и презервативы («кондомы»), но на них не всегда можно положиться. Забеременела ли одна из женщин? По-видимому, нет. Уф, жаркое было дело!

Можно побиться об заклад, что вся эта театральная интрига завязалась с той минуты, как у К.К. случился выкидыш в монастыре. М.М. это засекла, выведала секрет девицы, соблазнила ее, вступила в энергичное соперничество с Казой, разожгла любопытство Берниса, выманивая у него все более многочисленные подарки и надеясь, сознательно или нет, забеременеть, как К.К. в начале интриги, а тем временем К.К., хоть и не отказалась от новой попытки завлечь Джакомо, несомненно, мечтала занять место М.М. при французском после.

А как же мужчины? Они что, оказались в дураках? В общем-то нет. И женщины тоже нет. Одно не подлежит сомнению: все четверо получали наслаждение, и большое.

Дальше идти некуда, развязка наступает сама собой: Берниса ждут новые обязанности при Версальском дворе — он должен уехать. К.К. выйдет замуж за человека, не имеющего отношения к четверке, бесстрашная красотка М.М. исчезнет со сцены.

Карнавал? Да, но при этом и борьба властных сил.

Каза ни о чем не подозревает, но над его головой собирается гроза.

* * *

Казанова преступил невидимую черту. Монахиня-патрицианка (М.М. происходит из могущественной семьи Морозини), иностранный посол, к тому же духовное лицо, — это опасные связи, затрагивающие государственную безопасность. Кто он, этот любитель, бывший скрипач, сын комедиантов, посмевший встревать в наши дела? Что ему, собственно, известно? Что он выведал? Ему покровительствует Брагадин, ну и что? Ведь это, в общем, старый безумец, который пал жертвой бессовестного шарлатана, игрока и распутника. Словом, чтобы покончить с делом, как можно охарактеризовать этого навязавшегося на нашу голову выскочку? А вот как — *атеист.* Превосходный мотив для обвинения. Светлейшая республика умеет защищаться.

Джакомо уже обратил внимание, что вокруг него вертится некий Мануцци, шпион инквизиторов. Однажды Мануцци просит Казу одолжить ему книги по магии. Буря все ближе, тщетно Брагадин предостерегает своего приемного сына, советуя ему бежать, — все без толку, Каза не считает себя виновным, он остается. Судьба указывает нам путь? Следовать воле Божьей? Каббалистические пирамиды? Ангел Паралис? Неизвестно.

25 июля 1755 года (ему только что исполнилось тридцать) Каза арестован по приказанию Трибунала государственной инквизиции:

> «Мой секретер был открыт, все бумаги лежали на столе, за которым я писал…»

Сбиры немедля конфисковали все его рукописи и книги. И «Ключ Соломонов», и «Привратника картезианцев» (непристойную книжицу), а также Ариосто, Горация и Плутарха.

Никаких объяснений, никакого суда. Приказ — заключить в тюрьму Пьомби.

Сегодня мы знаем, что Казу *уже* приговорили к пяти годам тюремного заключения за атеизм. Ему самому об этом ничего не известно.

Можно подумать, жизнь его разбита. Как раз наоборот. Пребывание в темнице, внутренний протест, побег — все это только обострит его любовь к приключениям и к свободе.

Пути Провидения неисповедимы. И вот доказательство: Господь хранит своего любимого атеиста.

Каза просидел в Пьомби с конца июля 1755 года по 1 ноября 1756-го. Больше пятнадцати месяцев. Пять сезонов в аду. Это тяжкое испытание, как физическое, так и моральное. Вначале, пишет он, «я выделял очень много жидкости». Когда впервые была опубликована история его побега, точность описания шокировала читательниц в Праге, но таков уж он, Казанова, у него есть тело, оно ему совсем не безразлично, он наблюдает за ним, прослушивает его. Точно так же он приметлив к подробностям, когда дело касается мест, где он находится. Куда выходит его камера, ее размеры, что в ней из какого, более или менее податливого, материала сделано — ни одна мелочь не ускользает от его внимания. Вообще в подготовке своего побега он проявит себя отменным мастеровым.

Вокруг снуют крысы, заедают блохи. Первая физическая реакция Казы, запертого в темнице, без хлеба и воды, — восемь часов подряд простоять неподвижно, привалившись к маленькому слуховому оконцу. Крыша тюрьмы свинцовая, поэтому в камерах летом невыносимая жара, а зимой ледяной холод. Надо

держаться, это ясно, но как? С помощью мысли. Первая констатация: «Уверен, что большинство людей умирают, так и не научившись думать».

Все, что он рассказывает, — чистая правда: у нас есть счета тюремщика с расходами на питание узника. Каза говорит, что не может выпрямиться: его рост метр восемьдесят семь. Красавец с очень смуглой кожей, «африканец» — говорит о нем де Линь («Мой милый брюнет» — называла его М.М.).

> «Я понял, что человек, который заперт в одиночке и лишен возможности чем-нибудь себя занять почти в полной темноте, где только раз в день он видит того, кто приносит ему еду, где он не может ни ходить, ни выпрямиться во весь рост, — самый несчастный из смертных. Если он верит в ад, он желает оказаться в аду, просто чтобы рядом были другие. Я дошел до того, что жаждал, чтобы ко мне подсадили убийцу, безумца, вонючего больного, медведя. В Пьомби впадаешь в отчаяние от одиночества; но чтобы это понять, надо все испытать на своей шкуре. Если узник — литератор, дайте ему бумагу и письменные принадлежности, и он на девять десятых станет менее несчастным».

Каза требует, чтобы ему дали книги. Ему приносят «Мистический град Божий» сестры Марии Агредской (будет знать, как спать с монахинями!) и книгу о Сердце Иисусовом какого-то иезуита. С такого рода обдуманным юмором позднее можно было бы предложить узнику ГУЛАГа поразмышлять над ленинским «Материализмом и эмпириокритицизмом» (а если бы Казанова был посажен в тюрьму в наши дни, черный юмор состоял бы в том, чтобы заставить его в целях перевоспитания углубленно изучать полное собрание сочинений Пьера Бурдьё[25]).

> «Я прочел все, что могло породить воспаленное воображение на редкость набожной и меланхоличной испанской девственницы, запертой в монастыре в окружении невежественных и льстивых духовных наставников. Все ее чудовищные химерические видения именовались откровениями; влюбленная в Богородицу, задушевная подруга Святой Девы, она получила приказание самого ГОСПОДА описать жизнь его Божественной Матери; необходимые для этого наставления, которые никто нигде не мог прочитать, она получила от Святого Духа».

Жара усиливается:

> «Пот, выступавший на моей коже, стекал на пол справа и слева от кресла, в котором я сидел нагишом».

Блохи, непрерывное потение, геморрой, лихорадка и вдобавок деморализующее чтение мистических книг (почему бы, если уж на то пошло, не сборника проповедей далай-ламы?).

Каза требует, чтобы подмели его заросшую пылью камеру.

> «Воспользовавшись этими восемью — десятью минутами, я начал быстро расхаживать взад и вперед: напуганные крысы не осмеливались высунуть нос».

По-прежнему, по вполне понятным причинам, никаких известий от инквизиторов. Полный произвол.

«Виновный — это механизм, которому нет нужды вмешиваться в дело, чтобы этому делу содействовать. Он — гвоздь, который нуждается лишь в том, чтобы по нему ударили молотком, и он войдет в доску». (Московские процессы сделают шаг вперед: мы увидим обвиняемых, которые, содействуя обвинителям, сами объявляют себя виновными.)

В один прекрасный день камера Казы начинает содрогаться, колеблется одна из балок. Это землетрясение — то самое, что произошло в Лиссабоне 1 ноября 1755 года (привет Вольтеру). На мгновение Каза поверил, что может рухнуть Дворец дожей. И он окажется на свободе среди обломков. Следствием этой картины, нарисованной его воображением, стала единственная мысль — мысль о побеге (он осуществил ее год спустя).

> «Я всегда считал, что тот, кто забрал себе в голову довести до конца задуманное дело и посвящает этому все силы, непременно своего добьется, несмотря ни на какие препоны; человек этот станет великим визирем, Папой, свергнет монархию, лишь бы он взялся за дело вовремя, потому что тот, кто достиг возраста, пренебрегаемого Фортуной, уже ничего не добьется, ведь если ему не придут на помощь, надеяться ему не на что. Надо полагаться на Фортуну и в то же время не бояться ее превратностей. Но это расчет политический, и притом из самых сложных».

Фортуна? Она тут как тут в обличье *щеколды.* Распутник Фрагонара воспользуется щеколдой, чтобы бежать из тюрьмы: чем не сюрреалист? Он находит ее среди всякого мусора в углу на

чердаке, куда узника выпускают на короткую прогулку. Он припрятывает щеколду и с невероятным упорством начинает затачивать («моя ладонь превратилась в громадную рану»), мало-помалу превращая ее в подобие пики. Он уже поглядывает на пол, который ему предстоит пробуравить. Выход надо искать где-то здесь, где дерево окажется трухлявым.

Время от времени Казе подселяют сокамерников, чьи портреты он нарисовал сочной и беспощадной кистью. За ними приходится следить, надо заставить их молчать, иногда запугать. А вообще-то надо молиться, потому что молитва спасает от сомнений и отчаяния и придает сил. Молящийся атеист? Да, он осмеливается это сказать. Он использует все шансы до единого.

Однако пора начинать буравить. 23 августа ценой упорных усилий узник оказывается как раз над Палатой инквизиторов. Путь открыт. Но 25-го числа его внезапно переводят в другую камеру. По счастью, Казу отправляют не в *подземелье* (это был бы конец), а в камеру этажом выше и даже с видом на Лидо. Его хотят обрадовать. А ему надо начинать все сначала.

Если нельзя выйти через пол, что ж, придется через потолок. Тюремщик, обнаруживший дыру в старой камере, боится, как бы Казанова не обвинил его в профнепригодности, тем более что узник без его ведома воспользовался его же помощью: пустив в ход масло, которым поливают салат, и кусок трута, он смастерил маленькую лампу. «Кто вам помог это сделать?» — «Ты». Каналья перепугался, тем лучше. Надзор становится менее строгим. Как знать, может, какой-то далекий сообщник в Совете Десяти попросил об относительном смягчении режима? Казу не судят, к нему не подсылают убийц, его не обрекают, как многих других несчастных, гнить *внизу,* по пояс в воде, в бесконечной агонии. Потолок, потолок, вот где путь к свободе.

И, как всегда, магия письма и книг: в камере, расположенной над камерой Казы, сидит еще один узник, это отец Бальби, монах (но, в конце концов, вера внушает почтение). Бальби тоже читает книги. И готов обмениваться ими со своим соседом-атеистом. В книгах можно прятать записки и даже целые письма. Впрочем, надо иметь еще перо и чернила.

> «Я давно отрастил на правом мизинце ноготь, чтобы чистить уши, теперь я заострил его и превратил в перо, а вместо чернил использовал сок черных тутовых ягод».

Отцу Бальби доверять нельзя. Заманим его письмами в западню. Заманили. Теперь можно рассказать ему о щеколде, о «пике» и сделать соучастником, попросить продырявить в своей камере пол (через эту дыру он сможет втащить к себе Казу) и

потолок, который выходит на крышу (а там — счастливого пути!).

Но как *передать* ему щеколду? Господи, да это же ясно как день: в только что изданной Библии формата ин-фолио, в которую входят Вульгата и Септуагинта. Щеколда за корешком Библии, посланной безупречному отцу Бальби! Но щеколда слегка торчит с обеих сторон. Идея! Приготовим блюдо макарон для соседа (макароны скроют концы щеколды, выглядывающие из переплета), а отнесет все это монаху — тюремщик.

Библия, щеколда, блюдо с макаронами — подумать только, от чего порой зависит свобода!

И вот отец Бальби принимается за дело, буравит пол и потолок в своей камере, потолок в камере Казы. Чтобы скрыть следы своей работы, монах потребовал, чтобы ему разрешили украсить стены камеры благочестивыми гравюрами с изображениями святых.

Тюрьма стала своего рода храмом, где идут приготовления к весьма своеобразной мессе. В камеру к Джакомо поместили бывшего шпиона, надо его запутать метафизическими разговорами. По счастью, он чудовищно суеверен. Предатель, но дрожащий от страха. Как раз то, что надо.

Если он не будет слушаться, явится ангел и покарает его, впрочем, с минуты на минуту может появиться и Святая Дева.

Дело движется:

> «Семнадцатого октября в восемнадцать часов, когда я занят был переводом оды Горация *(дендизм Казановы)* … я услышал топанье над своей головой, а потом три коротких удара в потолок…»

Это условный сигнал монаха-бурильщика.

Обо всем договорились в переписке. Для этого надо было научиться писать «вслепую». Попробуйте-ка сами в потемках записать перевод Горация ногтем мизинца правой руки и соком тутовых ягод.

До сих пор Каза ничего не говорит о каббале и пирамидах. Но теперь минута настала. Чтобы задать вопрос и получить на него ответ, надо выбрать книгу. Какую? Конечно, обожаемого Казой Ариосто. Каза вопрошает, в какой день совершится его освобождение: в какой песне «Неистового Роланда», в какой строфе, в какой строке указано число?

Буквы, цифры, подсчет. Итог: песня IX, строфа 7, строка 1:

«Tra il fin d’Ottobre, e il capo di Novembre».

Иначе говоря: «Между концом октября и началом ноября».

Стало быть, это ночь с 31 октября на 1 ноября — и в самом деле, именно в этот миг новый Данте, Казанова, выйдет из

тюрьмы Пьомби и увидит звезды. Господь подает ему знак или через поэзию, или через музыку (Венеция — ведь это также «Неистовый Роланд» Вивальди, надо слышать, как поет его Мэрилин Хорн, эта возвышенная М.М.).

Мы уже поняли: необходимо призвать на помощь как можно больше спасительного магнетизма.

> «Я рассказываю обо всем этом, потому что оно удивительно, и притом — чистая правда, и если бы я в то время не отнесся к этому со вниманием, мне бы никогда не спастись».

Настала великая ночь. Отец Бальби втащил к себе Казанову через потолок в его камере. Путь на крышу тоже был открыт. Восемь часов вечера. Казанова выходит и видит луну. Слишком светло. Прогуливающиеся по площади Святого Марка могут их обнаружить. Лучше дождаться полуночи. А дальше? Полнейшая неопределенность.

Каза приготовил веревку. В ход пошло все: простыни, салфетки, матрацы. Главное — это узлы. Узлы мастера. Он в этом деле дока:

> «В больших предприятиях бывают обстоятельства, которые решают все, и успеха достоин лишь тот вожак, который полагается только на самого себя».

У монаха Бальби возникает вдруг множество сомнений. И кажется, всё их подкрепляет. Бежать невозможно — всякий, кто спрыгнет вниз, переломает себе кости. «Он отчаялся не настолько, чтобы бросить вызов смерти», — замечает Каза.

Они бодрствуют. Джакомо пользуется паузой, чтобы написать предерзкое письмо инквизиторам, которое заканчивается — мазок мастера — стихом из 117 псалма:

«Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни».

И старательно уточняет: «Писано за час до полуночи, в потемках».

Но самое трудное впереди — акробатический номер высшего класса. В такие минуты, говорит Каза, надо быть «смелым, но не безрассудным». Он взбирается на крышу, исследует ее более или менее прогнившую закраину, видит расположенное ниже слуховое окошко — быть может, удастся отодрать от него решетку при помощи щеколды «с пирамидальными гранями». Он спускается по своей веревке, взламывает слуховое окно, пропускает отца Бальби вперед, непонятно каким образом управляется с приставной лестницей — и вдруг в решительную

минуту его сковывает судорога, он ждет, пока она отпустит, потом, рассчитав все, что относится к науке о рычаге и равновесии, десять раз едва не оступившись, оказывается наконец на каком-то чердаке, где, выбившись из сил, засыпает.

Казановисты проверили все подробности этого описания, похожего на чудо неевклидовой геометрии. Остается предположить, что именно в эту минуту Великий Архитектор прикрыл глаза.

Двое сообщников, взломав несколько дверей, попадают в архивы дворца, потом в Канцелярию дожа, самое «сердце государства», хранилище законов, декретов, ордонансов. Это сон? Нет, это по-прежнему Господь забавляется. Так или иначе, пришлось проделать дыру в стене — пролезая через нее, Каза сильно поранил обе ноги. Он весь в крови. Теперь беглецы на Лестнице гигантов (она всем известна по открыткам). Но большие ворота, к которым она ведет, заперты, и взломать их невозможно. Придется, еще раз препоручив себя Господу, ждать утра. Компаньон Казы ноет и охает, а Каза тем временем развязывает узел с одеждой, которую предусмотрительно захватил с собой, и без дальних слов пытается *преобразиться,* чтобы можно было выйти на сцену:

> «Я был похож на человека, который, побывав на балу, побывал потом в притоне разврата, где его изрядно потрепали. Мой элегантный образ портили только перевязанные колени».

А теперь рискнем:

> «Разодетый таким образом, в красивой шляпе с белым пером, отороченной золотым испанским кружевом, я раскрыл окно».

Заметившие Казу зеваки, которые оказались в эту минуту во дворе дворца, решили, что его заперли там накануне по ошибке. Они позвали стражника, который отпер двери. Каза уже приготовил свою щеколду-пику, готовый прикончить стражника, если тот окажет сопротивление. Но стражник просто ошеломлен. Двое беглецов быстро покидают дворец, затем идут, не торопясь, но и не слишком медля, к гондоле (отец Бальби хотел направиться в церковь, но Каза понимает, что надо как можно скорее покинуть владения Республики). И вот они в гондоле и плывут по направлению к Джудекке.

> «И тогда, оглянувшись, я посмотрел на

> простиравшийся позади прекрасный канал, где не видно было ни одной лодки, и, залюбовавшись дивной погодой, лучше которой нельзя было пожелать, первыми лучами великолепного солнца на горизонте, двумя молодыми гондольерами, которые быстро взмахивали веслами, я в то же время вспомнил об ужасной минувшей ночи, о том месте, где я провел день накануне, и обо всех обстоятельствах, стечение которых так благоприятствовало мне, — и моей душой овладело чувство, устремившее ее к милосердному ГОСПОДУ, и она содрогнулась от благодарности, я был безмерно растроган, настолько, что из моих глаз хлынули вдруг слезы, утешая сердце, которое душил избыток радости; я рыдал, я плакал как ребенок, которого силою ведут в школу».

Бальби пытался его успокоить, но взялся за дело так неловко («Монах этот был глуп, и глупость порождала в нем злобу»), что вызвал у Казы приступ судорожного хохота, такого, что монах вообразил, будто тот сошел с ума.

Неужели это тот самый Казанова, который много позже, незадолго до смерти, скажет в «Очерке моей жизни», что государственные инквизиторы, посадившие его когда-то в Пьомби, поступили «справедливо и мудро»? Неужели этот самый человек будет «доверенным лицом», то есть шпионом на жалованье, у тех же инквизиторов? У нас есть его доносы, они ошеломляют.

1775 год:

> «Избыток роскоши, женская распущенность, полная свобода располагать собою, пренебрегая неукоснительными семейными обязанностями, — таковы причины с каждым днем усиливающегося развращения нравов…»

1780 год:

> «Женщины дурного поведения и молодые проститутки совершают в ложах пятого яруса театра Сан-Кассиано сии преступные деяния, которые правительство терпит, не желая выставлять их напоказ…»

1781 год:

> «Произведения Вольтера, нечестивые изделия…

Чудовищная „Ода Приапу“ Пирона… У Руссо „Эмиль“, содержащий множество нечестивых мыслей, и „Новая Элоиза“, которая утверждает, что человеку не дано свободы воли… „Тереза-философ“, „Нескромные сокровища“… Поэма нечестивца Лукреция, Макиавелли, Аретино и многие другие… Нечестивые книги ересиархов и зачинщиков атеизма, Спинозы и Порфирия, имеются во всех хороших библиотеках… Многие книги, отличающиеся оголтелым развратом, кажутся написанными нарочно, чтобы своими сладострастными и непристойными повествованиями будить дурные страсти, дремлющие в ленивой истоме… К несчастью, ни одна книга не пользуется таким спросом, как та, которая законом объявлена гнусной, и зачастую изгнание обеспечивает успех разнузданного автора…»

И в том же 1781 году:

«В районе Сан-Моизе, в конце Рыбного рынка, если идти от Большого канала к *калле*[26] Ридотто, есть помещение, называемое Академией художников. Те, кто учится рисовать, собираются здесь, чтобы делать наброски в иные вечера — обнаженного мужчины, в другие — обнаженной женщины в разных позах. В ближайший понедельник вечером позирует женщина, рисовать которую многие ученики будут в том виде, в каком она перед ними предстанет.

К изображению обнаженных женщин допускаются юные художники, едва достигшие двенадцати — тринадцати лет. С другой стороны, много любопытствующих любителей, не живописцев и не рисовальщиков, участвуют в этом представлении. Начнется сия церемония в час ночи и закончится в три часа».

Да, да, эти «донесения» черным по белому подписаны *Жак Казанова,* бывший беглец из тюрьмы Пьомби, знаменитый развратник всех времен. Он испытывал нужду в деньгах? Конечно. Был готов на все, чтобы его признали в Венеции? Возможно. Никогда не сообщал ничего существенного? Безусловно. Впрочем, эти уловки мало ему помогли, уже в 1782-м он снова изгнан за сверхъядовитый памфлет, направленный против всего добропорядочного общества Венеции. Вот почему ему вновь пришлось скитаться и закончить свои дни в Богемии. Вот почему он и стал писать то, о чем, вероятно, никогда прежде не

помышлял, — «Историю моей жизни», его триумф, его лучшее произведение, которое он начал в 1789 году.

Сложная, туманная личность. Он не святой (впрочем, кто знает?), не мученик (хотя…). Его временная служба в качестве шпиона, быть может, представлялась ему шедевром черного юмора. Удовольствие подобного рода заметно у Сада, когда во время Революции он разыгрывает восторженного революционера в секции Пик. Автор «Философии в будуаре» воспевает Марата — хочется себя ущипнуть. Казанова обличает нечестивые книги — хочется протереть глаза. Можно, однако, рискнуть высказать простую гипотезу: и тот и другой знали, что им нечего ждать ни по сути, ни по форме от какого бы то ни было режима или общества. Это предатели, которые предают первое лицо множественного числа. Они никогда не говорят *мы.* Они всегда я, в самом глубинном смысле, раз и навсегда.

В одном пассаже своей «Истории» Каза упоминает «венецианцев былых времен, столь же загадочных в любовных похождениях, как и в политике». Таков он сам.

* * *

Итак, Казанова бежит и готов придушить каждого, кто преградит ему путь. Он направляется к границе самым длинным путем, потому что понимает: на коротких его уже подстерегают. Шагает и шагает без устали. Видит какой-то дом, непонятная сила толкает его войти. В доме живет глава местной полиции. Это все равно что броситься прямо волку в пасть:

> «Я направился прямиком туда, хотя точно знаю, что никакого обдуманного к тому намерения не имел. Ежели в каждом из нас доподлинно обитает некий невидимый благосклонный дух, направляющий нас навстречу счастию, как то случалось, хоть и нечасто, с Сократом, то именно он, я верю, руководил мною в тот час. Признаюсь, что во всю мою жизнь не случалось мне поступать столь безрассудно».

Бог забавляется вовсю. Во дворе дома играет малыш. На пороге показывается беременная женщина и, несмотря на видимое смятение беглеца, принимает его за начальника своего мужа. А он-то, супруг, вот уж три дня как уехал ловить двух преступников, сбежавших в Венеции из Пьомби. Но вы в крови, сударь мой? Да, я поранился на охоте в горах. Так заходите, заходите же, моя матушка полечит вас, мы вас накормим. Каза

входит, его принимают как принца, укладывают спать, а наутро, проснувшись здоровым, он одевается и отбывает так же, как явился, с самым непринужденным видом. В придачу ко всему жена стражника пригласила его в крестные отцы своего будущего ребенка!

«Невидимый благосклонный дух»? Так оно и есть. Мы живем, исполняем свою судьбу, умираем, и невидимый дух-хранитель всегда присутствует, как присутствовал и будет присутствовать всегда, даже если некому это ощутить. Мы спасены от рождения и даже не родившись — разница в конечном счете невелика. Но все же родиться — большая удача. «Рождение на свет — единственная, на мой взгляд, милость судьбы. Беспристрастному уму она представляется совершенной» (Лотреамон).

Каза снова в пути. Он отправляет письмо в Венецию Брагадину с просьбой прислать денег. Какое-то время передвигается верхом на осле. Дальше, дальше! Мюнхен, Аугсбург и, наконец, Страсбург. Но конечная цель, разумеется, Париж, столица божественной и слепой Фортуны. Туда он и прибывает в берлине утром 5 января 1757 года, через два месяца после того, как задал такого знатного стрекача (тут это простецкое выражение в самый раз).

Он остановился в доме у друзей, итальянских актеров Баллетти, которые принимают его как героя. Сильвия Баллетти — знаменитая актриса, играющая в пьесах Мариво. Хозяйская дочка Манон, семнадцати лет (Каза пишет — пятнадцати), влюбляется в него всем сердцем и надеется, что он возьмет ее в жены. Надежда, не стоит и говорить, напрасная, но ей мы обязаны самыми изумительными любовными письмами, какие Каза когда-либо получал. Он сохранил их и привез с собою в Дукс. Манон писала ему тайком, чаще всего ночью, по-французски, простым и искренним слогом. Называла его дорогим другом, возлюбленным, супругом. Но близости между ними никогда не было.

Первым делом Каза, естественно, ищет встречи с Бернисом, недавно назначенным министром иностранных дел и вошедшим в Тайный совет по иностранным делам. Он отправляется в Версаль, но попадает не вовремя: как раз в тот день Дамьен совершил покушение на жизнь короля. Всего-то оцарапал ножиком, а шуму подняли до небес, и вскоре цареубийца был предан мучительной казни.

> «В ту пору французы воображали, будто любят своего короля, и выказывали эту любовь на все лады; в дальнейшем мы имели возможность узнать их несколько лучше. Однако по сути своей французы всегда

неизменны. Это нация, созданная для того, чтобы вечно возмущаться; в ней нет ничего подлинного, все одна лишь видимость. Она что корабль, которому любо плыть и надобен ветер: какой подует, тот и хорош. Недаром же корабль — герб города Парижа».

Каза решил взяться за ум и не отступать от принципа «быть сдержанным в речах и поступках». Пособия, которое регулярно присылал Брагадин, не хватало. Меж тем на руках у Казы имелась карта, которую следовало разыграть незамедлительно: рассказ о побеге. Его благосклонно принял Бернис, дал ему денег, выслушал его историю и велел записать, чтобы показать при случае маркизе Помпадур. Наконец, представил его герцогу де Шуазелю и генерал-контролеру Булоню, выдав за сведущего финансиста. «Постарайтесь изобрести что-нибудь полезное для государственной казны».

Нахальство, хладнокровие, дерзость, находчивость — и вот Каза, ведомый чутьем, выступает экспертом в математических расчетах для учреждения лотереи. От каббалистики и пирамид до игры на деньги в масштабах всей страны всего один шаг. Расчеты его, как можно убедиться, перечтя их сегодня, кишат ошибками? Что за важность! Каза вступает в сговор с итальянцем по имени Казабиджи, у которого есть чудаковатый брат, который пишет, не вставая с постели. Лотерея должна строиться по образцу страховых обществ, которые в то время распространяются по всей Европе и становятся весьма прибыльными. Дело пахнет миллионами, Каза замахивается на королевскую казну («Либо лотерея будет королевской, либо ее не будет вовсе».) Рукопись ощетинивается цифрами. Тут уж в ходу не цехины, а луидоры, дукаты и экю. В наши дни Каза преуспел бы в закулисных махинациях с евро. Репутация его вполне солидна, сама маркиза прочитала историю его побега и осталась довольна. Лотерея объявлена, Казанова открыл контору — деньги текут к нему рекой.

Сама жизнь — лотерея, безостановочное вращение барабана, грандиозный блеф. Казанова лишний раз убеждается в этом, но, вместо того чтобы выйти из игры, как сделали бы другие, отчаяться и впасть в меланхолию, садится за игорный стол, лавирует между барышами и потерями, повинуясь своему богу, то бишь своему желанию. Вопреки прочно установившемуся представлению, не одержимость, а азарт толкает его на бесконечные любовные опыты. Он все время разыгрывает одну и ту же карту, только в самых разных ситуациях. Бог требует от него не жертв, а внимания и осмотрительности. Пропасть между

ним и Паскалем трудноразличима. Для Казы нет ничего запредельного, все разыгрывается в этом мире, но каждый раз иначе.

В Париже объявляется венецианец в бегах, двадцати пяти лет, по имена Тирета. Каза принимает его, вводит в общество, и тот очень скоро становится знаменит благодаря некоторым своим физическим доблестям. Итальянка Ламбертини, первой оценившая их, дает ему прозвище «граф де Шестьраз». Дело в том, что он обладатель мощного члена. Каза забавляется, глядя на это орудие в действии. Оно потолще, подлиннее, но поглупее его собственного. Свое он использует как наживку, и однажды вечером, пока все играют в карты, на нее клюет очаровательная племянница одной тучной дамы. Барышне семнадцать лет, она только что вышла из монастыря. На свою беду, она любопытна. И Джакомо выступает в роли наставника.

Оба сидят в углу гостиной, у камина. Девушка заговаривает с Казой — ей хочется знать, что означает «граф де Шестьраз» и т. д. Каза демонстрирует, о какой части мужского тела идет речь. Это отпугивает ее, однако вскоре она возвращается к предмету беседы. Урок возобновляется, набирает обороты и кончается в носовой платок. Ученица, не такая уж глупенькая и невинная, притворно негодует, но не слишком сильно.

> «Менее чем в час заставили вы меня пройти путь, каковой, я думала, совершают лишь после замужества. Я стала как нельзя более сведущей в том, о чем прежде боялась и думать»*.

Джакомо всего лишь мастурбировал перед нею. Случись ему в наши дни извергнуть на вечернее платье любознательной девицы «телесную жидкость» (как изящно выражаются американские СМИ), его, возможно, привлекли бы к судебной ответственности за сексуальное домогательство и взяли эту самую жидкость на анализ ДНК, чтобы уличить его по науке. Дело запахло бы большими деньгами, в него вцепились бы адвокаты и журналисты. Скандал в Париже: один из приближенных министра иностранных дел обвиняется во влажном покушении на беспомощную несовершеннолетнюю. И она выиграет. Билл Казанова будет обезврежен. А его жертва огребет несколько миллионов долларов от продажи книжки, в которой изложит историю во всех ее гнуснейших подробностях.

Казанова поступает мерзко? Вероятно, однако поостережемся судить поспешно. Ибо почти тут же племянница напишет соблазнителю и попросит, чтобы он взял ее в жены и тем спас от участи быть проданной богатому купцу. «Не знаю, люблю ли я

вас, но знаю, что самолюбие велит предпочесть вас кому-либо другому»*. Тетка ее — «ханжа, картежница, богачка, скряга и неправедница»*. Распорядиться судьбой племянницы она намерена так, как принято во всех семьях: ступай в монастырь или выходи замуж, третьего не дано. Женитесь на мне, пишет девушка Казанове, и вы получите *столько-то.* Такова жестокая женская участь, и Казанова, что бы о нем ни думали, выступает первым и самым достоверным ее свидетелем. Уже одного этого хватило бы, чтобы счесть «Историю моей жизни» ценнейшим документом: монахини, неверные жены, дочери на продажу, шлюхи, куртизанки, вздорные старухи, простолюдинки, маркизы, мещанки, графини, девицы и замужние — настоящий моцартовский список, да еще увиденный острым взглядом социолога. Никаких обобщений — каждый случай сам по себе. Тьма подробностей, более красноречивых, чем сотни ученых монографий.

Жирная старая ханжа очень скоро получит по заслугам. Это произойдет в день четвертования Дамьена. Казанова заказал *окна* на всю компанию. Поглазеть на казнь собрались толпы народа.

> «Во время казни Дамьена принужден я был отвести глаза, услыхав, как он возопил, лишившись половины тела, Ламбертини же и г-жа XXX отворачиваться не стали; но не жестокосердие было тому причиной. Они объявили — а я сделал вид, что поверил, — будто не питали ни малейшей жалости к сему исчадию ада, настолько они любили Людовика XV. Но, по правде сказать, Тирета занимал г-жу XXX во время казни столь усердно, что, быть может, она из-за него не смела ни пошевелиться, ни повернуть головы»*.

Публичное истязание Дамьена длилось четыре часа. Раскормленная святоша г-жа XXX, разыграв задним числом возмущение, с превеликим удовольствием заграбастала Тирету. Каза же под покровом ночи завершил образование ее племянницы. Ее это — как он говорит и, уж верно, не врет — ничуть не огорчило.

Казанова — *учитель,* именно этому он обязан своей дурной репутацией, бешеной завистью, которую испытывают к нему мужчины, и тайной приязнью женщин (как бы ни бранили они его вслух) — словом, всей сложившейся о нем легендой. Учитель прикладной физиологии — и истории в придачу. Расправа с Дамьеном предвещает массовые казни времен Террора, когда гильотина будет работать как заведенная. Французы, кажется, обожают своего монарха, но…

> «А меж тем то был тот самый народ, что уничтожил всю королевскую семью, все французское дворянство, всех, кто составлял цвет нации, благодаря кому прочие народы уважали ее, любили, брали с нее пример. Нет народа гнуснее французов, говаривал сам г-н де Вольтер. Это хамелеон, вечно меняющий цвет, способный содеять все, что только повелит ему вождь: и добро, и зло»*.

Пророческие строки, написанные задолго до эпохи Наполеона. Быть может, они во многом объясняют извечную «французскую неугомонность» и склонность французов к нескончаемым гражданским распрям. Прислушайтесь же, французы, если хотите снова стать завидным образцом для Европы и всего мира, — прислушайтесь к тому, что написал два века тому назад венецианский изгнанник на чистом французском языке. Или его послание имеет так же мало шансов на успех, как брошенная в море бутылка? Как знать.

Бернис использовал Казу для различных «секретных поручений» (например, для осмотра французских военных кораблей в Дюнкерке), так что он имел возможность оценить, как плохо действует вся система управления в стране. Повсюду беспорядок, деньги сплошь и рядом расходуются впустую, государство погрязло в долгах, народ опутан ложью. «Революция была необходима». Но ни к чему хорошему она не привела:

> «Несчастный народ — одни живут в нищете и умирают от голода, другие принимают смерть на полях сражений по всей Европе ради наживы тех, кто их обманул».

Людовик XVI был «добродетельным», но «невежественным». В недавно найденном и опубликованном тексте Казановы говорится:

> «Французская монархия была обречена на гибель при таком слабом короле и бездарных министрах — исключение составлял Вержен, но он один ничего не мог изменить. Вся страна потешалась над правительством, а оно словно нарочно выставлялось на всеобщее обозрение; никаких государственных тайн более не существовало, тогда как следовало бы все держать за семью печатями, дабы скрыть от народа, что дела находятся в отчаянном положении и угроза полного краха неотвратима. Угроза имелась, но от министров зависело предупредить ее, прибегнув к средствам,

недостатка в которых не могло быть, ибо его не было в куда более тяжелые времена».

К тому же действовали подспудные и даже потусторонние подрывные силы. Казанова знает, что говорит (всем известна его вражда с Калиостро). Особенно резко отзывается он о герцоге Орлеанском, прозванном Филиппом Эгалите[27]. «Этого принца по праву следует счесть одним из главнейших виновников Революции». Равенство? «Оно хуже любого неравенства», — убежден Каза. Братство ему тоже не по нутру. Остается свобода, и тут уж ему не требуются наставники.

* * *

Малышка Манон Баллетти любит Казу всем сердцем, а он ее *очень* любит. Но это не заставит перемениться нашего искателя приключений, который не задумываясь ищет в искусительном Париже своего времени общества «продажных красоток, которые имели шумный успех и о которых много говорили». Ну и конечно, как всегда, его окружают актрисы, певицы, танцовщицы:

> «Совершенно свободные, пользуясь своим правом, они отдавались по очереди то по любви, то за деньги, а порой и так и этак одновременно… Я без труда затесался в их круг».

Тело берет верх над чувствами.

Камилла — актриса и танцовщица Итальянской комедии. При ней в роли второго любовника состоит граф де ла Тур д'Овернь, у которого, в свою очередь, есть еще одна молоденькая содержанка. Устраиваются блестящие вечера, Каза присутствует на них, он сопровождает графа и его подружку, ему хочется пощупать красотку, но, обознавшись, он ласкает графа, который подтрунивает над Казой. Все смеются. Как и следовало ожидать, мужчины становятся друзьями, потом вдруг дерутся на дуэли из-за каких-то денежных недоразумений, мирятся, часто встречаются друг с другом. Ла Тур д'Овернь болен, он считает, что у него *ишиас*. Нет, говорит ему Каза, это всего-навсего «сырой дух», я вас живо вылечу, нанеся на тело «талисман Соломона» и произнеся при этом «пять слов». Граф и Камилла воспринимают это как шутку, да и сам Каза в душе посмеивается, но шутки в сторону, отнесемся к делу серьезно. Каза требует, чтобы ему принесли селитры, синего купороса, ртуть и кисточку. Потом заставляет больного дать ему немного мочи. Все смешивает («делает

амальгаму»). Не хихикать и не гримасничать, приказывает он. Рисует на бедре Ла Тур д'Оверня пятиконечную звезду, произнося якобы магические заклинания на неведомом языке («я и сам не понимал, что говорю»). Ну не *комична* ли эта комедия? В ней чувствуется рука режиссера Мольера. Но сыграна она в реальной жизни, и притом с неколебимой серьезностью. Несколько дней спустя, когда Каза и думать забыл об этом фарсе, к нему явился Ла Тур д'Овернь — он выздоровел.

Вы не найдете на свете такого шарлатана-эзотерика, который написал бы мемуары, чтобы поведать в них о собственных плутнях и о доверчивости тех, кого он надул. А вот Казанова, истинный сын Просвещения, именно так и поступил. Не опасаясь «черного прилива оккультизма» (так однажды выразился Фрейд в разговоре с Юнгом, с которого взял слово никогда не отказываться от сексуальной теории, чтобы не поддаться на приманки оккультизма), Каза непринужденно ныряет в океан иллюзий и плавает в нем. Он знает, что такое секс, он совершенствует свое знание каждый день. И *поэтому с* первого взгляда может оценить оккультный рынок. А на этом рынке, бог свидетель, в XVIII веке, как и в наши дни, царит бум. Чего там только нет, но, кстати, там действуют и люди очень образованные, очень умные, которые интересуются «абстрактными науками». Граф де Ла Тур д'Овернь, который ни во что не верит, хочет, чтобы Каза познакомился с его теткой, «которую считают весьма сведущей в абстрактных науках и в химии, женщиной умной, богатой, единолично распоряжающейся своим состоянием». Каза немного поломался, он не хочет прослыть опереточным магом. Элементарная уловка: наживка станет от этого еще соблазнительней.

Маркиза д'Юрфе — особа весьма родовитая. Несмотря на преклонный возраст, она очень красива и к тому же знает все, что касается химии, алхимии и магии. Она принимает Казанову, который сразу улавливает масштаб проблемы. Тут речь пойдет не о мелких каббалистических фокусах с пирамидами, с вопросами и ответами, с зашифрованным всезнающим духом (хотя в будущем эти фокусы еще могут пригодиться). Здесь, в столице, в которой скоро родится новый исторический календарь, желают проникнуть в самую суть вещей. Великое Деяние, философский камень, первоклассная библиотека, работающая лаборатория — Каза обходит дом маркизы, и мы следуем за ним, словно он вводит нас в научно-фантастический фильм. Маркиза была когда-то любовницей Регента, который, как известно, питал такую страсть к алхимии, что, по словам Сен-Симона, желал встретиться с самим Дьяволом. Не забудем также: на заднем плане всех этих

историй очень много всевозможных отравителей и отравительниц.

Пожимать плечами в ответ на обсуждение затронутой темы бессмысленно — это никого не убеждает, даже наоборот. Скорее способствует распространению феномена. Дело не в том, верим мы или не верим. Надо вглядеться в то, как вся эта машина вертится.

Маркиза д'Юрфе сумасшедшая, это очевидно, и Каза не скрывает от нас, что с первой минуты ставит ей именно такой диагноз. Но, как и в истории с Брагадином, он сразу понимает, какой удобный случай ему представился. У него нет ни малейшего желания браться за дело всерьез, он творит свой образ по мере необходимости. Каза начитан, обладает интуицией, умеет говорить, а когда надо — промолчать, но главное — он умеет связать одно с другим, сместить акценты, угадать, внушить, бросив мимолетный взгляд на документ или рукопись, уловить его суть, умеет делать вид, будто знает больше, чем на самом деле, умеет попасть в точку. Он криптограф, он с ходу осваивает шифр.

> «Из библиотеки мы перешли в лабораторию, которая и впрямь меня удивила. Маркиза показала мне вещество, которое она держала на огне вот уже пятнадцать лет и которому предстояло оставаться там еще года четыре, а то и дольше. Это был алхимический порошок, который в течение минуты мог превратить в золото любой металл…»

В потрясающем диалоге маркиза и Джакомо состязаются в эзотерических познаниях, обмениваются намеками, недомолвками. Маркиза предпочитает назвать «неизреченные имена»? Ну что ж, но знакома ли она с теорией планетарных часов? Знакома, но не в полной мере. И вдруг Каза заявляет маркизе, что у нее есть Дух и он должен узнать его имя.

> «— Вам известно, что у меня есть Дух? — спрашивает маркиза.
>
> — Должен быть, если у вас и впрямь есть алхимический порошок.
>
> — Он у меня есть.
>
> — Поклянитесь клятвой Ордена.
>
> — Я не решаюсь, и вы знаете почему».

Отлично разыграно. Клятву розенкрейцеров и в самом деле трудно воспроизвести в разговоре мужчины с женщиной, в

особенности если они встретились впервые. Маркиза тотчас это признает, победа одержана.

> «В нашем Священном Писании, — сказала мне она, — эта клятва описана иносказательно. Там говорится: поклянись мне, положив руку под стегно мое. Но подразумевается тут вовсе не стегно. Вот почему мужчина никогда не может поклясться женщине таким образом, ибо женщине не дано Слова».

В начале было Слово, и Слово стало плотью. Но мы видим, что Казанова толкует Священное Писание весьма смело и на свой лад. Маркиза, кстати, желала бы быть одарена Словом, то есть желала бы возродиться в мужском теле. Она чувствует, что Казанова — именно тот человек, который необходим для этой грандиозной операции, для этого сложного и весьма необычного клонирования. Джакомо в ее глазах — некий мутант, колдун высшего ранга, который, чтобы ему не чинили помех, не арестовали, проходит сквозь время, скрывшись под заемной оболочкой (например, под оболочкой изобретателя модной лотереи).

> «Все эти причудливые мысли рождались от откровений, которыми маркизу снабжал по ночам ее Дух и в которые верило ее пылкое воображение. Излагая мне их с искренней убежденностью, она сказала однажды, будто Дух убедил ее, что, покуда она остается женщиной, я не могу доставить ей возможность беседовать с Духами, но посредством операции, которая должна быть мне известна, я могу содействовать переселению ее души в тело младенца мужского пола, рожденного от философского соития бессмертного со смертной или смертного с женщиной божественного происхождения».

Трансмутация, трансмиграция, воскресение с переменой пола — каждому ясно, что мы в самом сердце навязчивых фантазий смертных. Самое неприятное, конечно, что для этого надо умереть. Но маркиза д’Юрфе готова «сбросить свой старый каркас», прибегнув к особому яду, который был известен одному только Парацельсу (кстати говоря, не сумевшему им воспользоваться). Каза ошарашен, он долго молчит, смотрит в окно. Маркиза воображает, что он плачет.

> «Я не стал ее разубеждать, я вздохнул, взял свою

шпагу и ушел. У дверей меня ждал ее экипаж, который всегда был в моем распоряжении».

Так что продолжение следует. Каза не преминул отметить, что злоупотребил доверием маркизы: «Всякий раз, когда я об этом вспоминаю, я печалюсь и стыжусь и, налагая на себя покаяние, дал себе слово говорить правду в своих „Мемуарах“». В тот день, когда Каза убедил маркизу, что поддерживает личный контакт с Духами, он «завладел ее душой, ее сердцем, ее умом и остатками здравого смысла». Существенно отметить, что маркиза, очень богатая, но очень скупая, готова была отдать все, что имела, чтобы стать мужчиной. Отговорить ее от этого намерения было невозможно, замечает Каза.

> «Если бы, как истинно честный человек, я сказал ей, что все ее мысли — вздор, она не поверила бы мне, и потому я решил — будь что будет. Да мне и самому нравилось изображать себя величайшим розенкрейцером и самым могущественным из людей… Я видел ясно, что, если понадобится, маркиза мне ни в чем не откажет, и, хотя я не имел намерения завладеть ни всеми ее богатствами, ни какой-либо их частью, мне не хватало мужества отказаться от этой власти».

Защитительная речь *pro domo*[28] типична для Казы. Общество, в котором он подвизается, не предоставляет места таким, как он, сыновьям комедиантов, надеяться ему, кроме собственных талантов, не на что, но таланты эти редко вознаграждаются и целиком зависят от прихоти аристократов. Так обстоят дела, а Каза не станет ждать, чтобы воскреснуть к новой жизни через два-три столетия. Ему подавай теперь или никогда. В отличие от большинства смертных он не хочет быть другим или другой, не ищет ни воскресения, ни бессмертия. Редкое качество — он знает, к какому полу принадлежит, и не намерен его менять. И он торопится.

Вообще-то Каза был знаком с великими чародеями своего времени. Граф Сен-Жермен приходил ужинать к маркизе д’Юрфе. Ужинать — сказано слишком сильно: граф не ест, он говорит.

> «Никто не мог сравниться с ним в красноречии. Ему хотелось, чтобы в нем видели чудодея во всем, он желал удивлять и в самом деле удивлял. Тон у него был решительный, но это не отталкивало, потому что он был ученый, говоривший на всех языках, великий музыкант, великий химик; он обладал приятной внешностью и

властен был стать другом любой женщины, потому что, снабжая женщин румянами, от которых кожа становилась красивее, он прельщал их надеждой не на то, что они станут моложе, — это, говорил он, невозможно, — но на то, что они останутся такими, какими были, когда с ним познакомились, если будут употреблять воду, которую он преподносил им в подарок, хотя ему самому она обходилась очень дорого. Этот удивительный человек, которому на роду было написано стать самым бессовестным из всех обманщиков, безнаказанно и с самым небрежным видом утверждал, будто ему триста лет, будто он обладает средством, врачующим все недуги, и может творить с природою все, что ему заблагорассудится, будто он расплавляет алмазы и из десяти — двенадцати маленьких делает один большой, самой чистой воды и ничего не потерявший в весе. Все это было для него пустяком. И несмотря на его бахвальство, на несообразности и явную ложь в его речах, я не мог счесть графа наглецом, хотя не мог и уважать, однако я считал его удивительным, ибо он меня удивил».

У нас нет мемуаров графа Сен-Жермена или Калиостро, но у нас есть мемуары Казановы. В «Монологе мыслителя», маленькой книжечке, опубликованной в Праге в 1786 году, Каза насмехается над Калиостро, что можно счесть предупреждением французской монархии, которая вскоре попадется на крючок ожерелья королевы[29]. Казанова рисует здесь портрет мошенника, доверие к которому «зиждется на том, что люди имеют весьма зыбкое и абстрактное представление о чудесах, которые он сулит… А всякий человек тверже всего верит в то, о чем имеет самое скудное представление…»

Казанова ничего не обещает и мало что выполняет. Ему приписывают могущество? Пусть так, он не возражает. Собственная жизнь интересует его куда больше, чем судьба человечества. Это, конечно, грех, если считать еще худшим грехом уметь рассказать то, что достойно быть рассказанным, и через все нагромождение лжи показать правду. Слово «удивил» для Казановы выражение очень сильное. Между прочим, отметим его проницательность — он до Фрейда рассмотрел в женщинах неистребимую жажду пениса (или желание иметь ребенка, что, собственно, одно и то же), а также оценил всевластие чуда, которое сулят косметические средства. Быть женщиной — значит стремиться «себя улучшить», а Каза именно такой «улучшатель»,

пусть временный, но зато высшего класса. Маркиза сумасшедшая? Несомненно, но она «восхитительна». Ей хотелось бы быть мужчиной? Ну и что из того? Что до графа Сен-Жермена («я в жизни не встречал столь ловкого и обольстительного обманщика»), Каза вскоре увидится с ним в Амстердаме, где граф выполняет секретную миссию. В игре замешаны большие деньги — ткань Истории расшита подобными делами, и чаще всего мы не в силах распутать нити этого шитья. Волею Людовика XV Сен-Жермена поселили в Шамборе в тех самых апартаментах, которые король когда-то пожизненно даровал маршалу Саксонскому. У Сен-Жермена в Трианоне есть даже своя *лаборатория.* Тайно использовать обманщиков очень удобно, можно ничего не сообщать ни правительству, ни полиции. В случае необходимости от них можно отречься, но ни под каким видом нельзя допустить, чтобы их арестовали, — им помогут бежать. Знать ничего не знаем, ведать не ведаем, только в финансовых делах происходит какое-то движение. Позже, иногда гораздо позже, в счетах обнаруживаются прорехи филигранной работы. Счета куда-то испаряются, бумаги сжигаются, память подводит, свидетелей след простыл. На катящийся колобком философский камень налипает много серебряной и золотой пены. И нет ничего нового под солнцем чистогана, пока толкуем мы себе о том о сем.

* * *

Каза едет по финансовым делам в Голландию. Он занят подсчетами, азартно выстраивает спекуляции. Венеция так далеко — кто бы узнал в старой безобразной потаскухе из амстердамского борделя прежнюю обворожительную Лючию? А вот Тереза Имер[30], та стала певицей, при ней ее дети, в том числе шестилетняя София, очень похожая на Джакомо, — это его дочь.

На севере интрижки не в моде. Молодая и буржуазная до мозга костей красотка Эстер желает изучать каббалу, вместо того чтобы вникать в подлинную магию собственного организма. Они с Казой выезжают, посещают концерты, возвращаются, беседуют. И разговор все больше смещается от любви к коммерции. Каза стареет! «Я ушел, оставив ей в подарок часы».

Дочь ему Тереза не отдает, зато поручает своего двенадцатилетнего сына; маркиза д'Юрфе решит, что он послан небом для осуществления ее тайных чаяний. Она называет его графом д'Аранда и помещает в роскошный пансион.

> «Я не отрицал, что малыш Аранда принадлежит Великому Ордену, что тайна его рождения скрыта от всех, что он лишь на временном моем попечении, что ему суждено принять смерть и продолжить жить. Я почитал за лучшее соглашаться со всеми ее фантазиями, а она уверяла, что тайны ей открывает Дух, беседующий с ней по ночам»*.

Г-жа д'Юрфе проводит бурные ночи, но только в психическом плане. В физическом ее надежды не оправдались. Она такая не одна, а психоанализ еще не появился (впрочем, еще неизвестно, насколько эффективным оказался бы он в этом случае).

Каза разбогател и сразу приобрел повадки солидного пожилого человека. Он расточает всем подарки: Сильвии Баллетти, своей драгоценной Манон, которая скоро устанет ждать и выйдет замуж по-человечески. Что положено делать богачу? Обзавестись загородным домом — и вот он найден в парижском предместье Малая Польша. Дом называется «Щегольская Варшава». Кухарку зовут Ла Перль[31].

> «Благодаря мне Малая Польша очень скоро сделалась знаменитой. Шли разговоры о тамошней отменной кухне. По моему приказу кур держали в темном помещении и откармливали рисом, мясо их от этого становилось белоснежным и нежным на вкус. Совершенства французской кухни дополнил я всем самым изысканным, что мог позаимствовать из лакомых яств прочих европейских стран… Я тщательно подбирал крут гостей, которых приглашал на изысканные ужины, и они видели, что мне самому было тем приятнее, чем большее удовольствие получали они. Наизнатнейшие и весьма изящные дамы являлись с утра погулять по моему саду в сопровождении неискушенных и не смевших рта раскрыть юнцов, я же, делая вид, будто не замечаю этих кавалеров, потчевал всех свежими яйцами и сливочным маслом… Поил вволю задарским мараскином, и так далее…»

Примечательно, что в позднейшие времена по всему миру откроется множество ресторанов «Казанова» (я видел даже названную так забегаловку фастфуд в Праге), а в супермаркетах будут продаваться разрекламированные в глянцевых журналах книги «Кухня Казановы». Каза превращается в *торговую марку*. И в самом деле, он заводит мануфактуру набивных шелковых тканей с двумя десятками работниц, которые, разумеется, все по

очереди перебывали в его постели, дабы получить в награду хороший куш. Вообще женщины все больше начинают заботиться о том, чтобы выгодно *себя поместить,* и их нетрудно понять. Была даже какая-то неприятная история с неудачным абортом, Джакомо рассказал ее довольно подробно. Речь шла о некой XCV, Джустиниане Уинн, англичанке (Каза называет ее просто «Мисс»), которой он хотел помочь, с тем чтобы потом самому ее соблазнить. В результате на него подала жалобу повитуха, так что он еле выпутался, пустив в ход все свои связи. Вот он ненадолго увлечен женою лавочника («мы провели три часа в восхитительных безумствах»), но и тут оказывается замешан денежный интерес. «Я вел жизнь счастливого человека, но счастлив не был». Он упоминает о гомосексуальности герцога д'Эльбефа, но явно многого недоговаривает — в его бумагах в Дуксе найдены, видимо, непригодившиеся заметки: «Моя любовь с миньоном герцога д'Эльбефа», «Педерастия с Базеном и его сестрами»; «Педерастия с X в Дюнкерке». Это доказывает, что Каза был гетеросексуалом не просто по инерции, как принято считать, и тем интереснее выбор, который он делал с полным знанием предмета. Непристойный, бесстыдный Каза.

Коммерческие дела идут из рук вон плохо (похоже, коммерсант приложил для этого все старания). Джакомо арестован за долги, и снова выручили влиятельные друзья.

> «Заключение, хотя и недолгое, отвратило меня от Парижа и заставило до скончания дней бесповоротно возненавидеть всяческие процессы»*.

Хорошо, конечно, иметь деньги и власть, но они приносят разочарование. В то время наш философ был вовсе не настроен *sequere Deum.*

> «Все предопределено, мы не вольны в поступках, которые совершаем. И стало быть, все самое важное, что приключается с нами на свете, непременно должно случиться. Мы всего лишь мыслящие атомы, что движутся туда, куда несет их ветер».

В Германии Казе не везет. В Кельне он встречает г-жу X., красотою равную Олимпии Ариосто, но, чтобы овладеть ею, приходится идти на самые изощренные военные хитрости: скрючившись, сидеть пять часов в исповедальне запертой церкви, затем ждать на лестнице, ведущей из ризницы в покои дамы. И вдобавок стараться не разбудить спящего рядом мужа. Усилия вознаграждены, но слишком дорого далась награда. В Штутгарте

Каза постоянно проигрывает. Все как-то не ладится. Скорей в Швейцарию!

В Цюрихе он переживает нравственный перелом: «Высшее из всех благ — полное спокойствие».

> «С этой мыслью я заснул, и меня посетили приятные видения о жизни в тишине, уединении, довольстве и покое. Мне снилось, будто я хозяин чудной усадьбы и там обрел ту сладкую свободу, которую вотще искал в светском обществе. Проснувшись на рассвете, я с досадою вернулся к горькой яви и положил себе осуществить свои грезы; встал, оделся и бросился прочь из дому неведомо куда».

Чем не Руссо! Не удивительно, что Джакомо встречается церковь, а в ней смиренный монах, который показывает ему прекрасную библиотеку — вот в чем, быть может, заключается истинная жизнь? Стать монахом? Или жениться? В трудную минуту либертина осаждают искушения справа и слева. Подобные вопросы возникают в «Истории моей жизни» не раз. «В моем возрасте, — думает постаревший Казанова, — независимость обращается в разновидность рабства».

> «Женись я в свое время на расторопной женщине, которая умела бы так мною руководить, так меня направлять, чтобы я своей подчиненности не замечал, я исправно заботился бы о своем состоянии, у меня были бы дети и я не очутился бы, как ныне, неимущим и неприкаянным».

Дети-то у Казы были, но не он их растил. Впрочем, старый библиотекарь из Дукса тут же спохватывается: «Я вполне счастлив своими воспоминаниями, так что предаваться бесплодным сожалением неразумно». Да, он одинок, у него ничего нет, но с ним его перо.

Стоит Казе потерять уверенность в себе, как он заболевает, но на этот раз его недуг — следствие злого умысла, обдуманной женской мести. Он называет эту особу Ф. Она заманивает его на свидание, выдает себя в темноте за другую, а на другой день присылает письмо:

> «Знайте, сударь, что вот уже десять лет я не могу исцелиться от небольшой хвори. Вы достаточно потрудились в эту ночь, чтобы также ее подцепить, посему советую вам незамедлительно принять лекарства.

> Предупреждаю вас для того, чтобы вы ненароком не передали заразу своей милой, которая по неведению могла бы заразить своего мужа, а там и других; это принесло бы ей несчастье, чего мне не хочется, поскольку она мне никогда никакого зла не причинила».

И хоть Каза ответил восхитительной женщине, словно сошедшей со страниц Лакло, что она заразила вовсе не его, а подосланного лакея, но удар попал в цель. Говорят, болезни такого рода подобны шрамам от боевых ран. Конечно, Казанова вылечился (до СПИДА тогда еще не дожили) и не пошел в монахи. Что до женитьбы, реальной кандидатурой была вдова Дюбуа, которую он называет «моя служанка» и «моя гувернантка»[32]. Но тут, как уже не раз случалось, он великодушно выдает ее за другого (не преминув напоследок, по просьбе бывшей нареченной, сделать ей ребенка).

Швейцария — двуликая страна. С одной стороны, Кальвин, с другой — бани Ла Мат, настоящий притон разврата, где две прислужницы-лесбиянки устраивают представление для Казы и Дюбуа:

> «Они принялись повторять вдвоем все то, что я у них на глазах проделывал с Дюбуа. Та изумленно глядела, с каким рвением прислужница, которую я нанял, играла перед подругою роль мужчины. Даже я был удивлен, хотя шесть лет тому назад имел случай зреть яростные и невыразимо прекрасные ласки М.М. и К.К. Я повернулся, и девка, видя мое любопытство, представила моим взорам свой клитор, твердый и необычайной величины. Он походил на большой палец без ногтя и мог удлиняться и укорачиваться. Обладательница сего органа воспылала к моей гувернантке и сказала, что он достаточно крепок и может, ежели моя спутница дозволит, проникнуть в нее, но мне это не показалось забавным».

Что ж, может, в другой раз… Немножко лицемерия походя: «Как ни комично было совокупление этих девиц, оно изрядно разожгло в нас вожделение». Почему «комично»? Какому читателю угождает здесь Каза?

Но Швейцария — это перво-наперво Женева — храм Реформации и Разума. Там протестантские пасторы, которых Каза вводит в краску упреками в том, что они, вслед за Кальвином, считают Папу Антихристом. Тут ученый Галлер и конечно же Вольтер.

Богословам в лице гениальной юной Гедвиги Каза дает урок прикладной метафизики. Вольтера же потчует поэзией. Все это происходит на фоне бесконечной оргии. Всю главу можно бы назвать «Венеция трудами одного-единственного человека берет верх над Женевой». Или так: «Рим под парусом вольнодумства торжествует над протестантизмом». Или же: «Тайны Контрреформации». Игра не устарела — в наши дни она актуальнее, чем кажется.

В Лозанне Каза вдруг предается рассуждениям о красоте и форме (опираясь на «Пир» Платона).

> «Ничто из сущего никогда не имело надо мной такой власти, как прекрасное женское или девичье лицо»*.

Он думает о Рафаэле, о портретах Натье. Что же такое красота? «Мы ничего о ней не знаем и знаем все отлично». «Художник, в коем нет искры Божьей, добивается этого звания силой»*.

Секс подобен живописи: все, что берешь силой, фальшиво, а наспех и вовсе ничего не получится.

Итак, Каза прибывает в Женеву и останавливается в трактире «Весы». Сердце его учащенно бьется, ведь именно в этой комнате он провел когда-то свою последнюю ночь с Генриеттой. Он подходит к окну и видит надпись, прочерченную бриллиантом по стеклу: «Ты забудешь и Генриетту». Каза комментирует просто: «Волосы зашевелились у меня на голове». У него они шевелятся редко. Но долой суеверия, нанесем визит Вольтеру.

В Женеве у господина де Вольтера дурная репутация. Его едкий юмор раздражает швейцарцев. Актеры, играющие в его пьесах, им недовольны: Вольтер упрекает их в том, что у них скверное произношение, и смеются они не так, как надо, и плачут лишь для вида. Словом, он «дерзок, груб, невыносим». Мудрый Галлер говорит Казанове, что издали Вольтер величественней, чем вблизи, и, когда Вольтер расхваливает Галлера Казанове, Джакомо замечает, что великий ученый не столь снисходителен к Вольтеру. «Что ж, — пожимает плечами Вольтер, — возможно, мы оба с ним заблуждаемся».

У себя дома Вольтер всегда попадает в точку, все смеются в ответ на его шутки, в его распоряжении целый двор почитателей. Где он только не побывал, ему шлют письма со всех концов Европы. Представляясь Вольтеру, когда тот выходит из-за стола, Каза говорит, что числит себя «его учеником вот уже двадцать лет». Прекрасно, отвечает Вольтер, продолжайте им оставаться еще двадцать лет и не забудьте прислать мне жалованье.

С этой минуты они ведут диалог (а Каза великий мастер

писать диалоги). Дискуссия касается в основном литературы. Джакомо извлекает свое любимое оружие — «Неистового Роланда» Ариосто. Он хочет дать понять Вольтеру (а также нам, гипотетическим читателям будущего), что величайший прозаик современности в поэзии не достигает великих образцов прошлого: Гомера, Данте. Автор «Эдипа» не любит ни «Божественной комедии», ни Шекспира. И напрасно. Поэзия, дорогой мэтр, это необязательно трагедия в общепринятом смысле слова, это не версификация, не остроумие — это прежде всего страсть, воодушевление, любовь, короче, нечто чисто физическое. Доказательство? Послушайте двадцать третью песнь «Роланда», я вам ее прочитаю — под конец я всегда плачу. Хочу вам также напомнить, что Папа Лев X когда-то решил отлучить от церкви всех, кто не любит Ариосто.

Словом, Каза похваляется тем, что расширил вкусы Вольтера, и не только из «патриотических» соображений. Он всячески превозносит вдохновение и пламень, и нам понятно почему. По сути, как почти всегда, он *опережает время.*

Другая дискуссия с философом, чей авторитет вскоре станет непререкаемым (Руссо не в счет, Каза побывал у него вместе с госпожой д'Юрфе, и тот показался ему мрачным, неловким), касается политики. Тон становится более желчным. Нужно ли критиковать правительство Венеции? Нет, заявляет Каза, к нашему великому изумлению (и надо признаться, мы его одобряем). Вольтер: «Можно ли избавить человечество от суеверий, от этого „хищника", который его пожирает?» Казанова: «Вам никогда не удастся уничтожить суеверия, они неизбежны, а может, и необходимы, это утверждает философия, прошедшая испытание будуаром». Вольтер говорит, что народ, избавленный от суеверий, может удариться в философию. Возможно, отвечает Каза, но тогда он выйдет из повиновения (подразумевается: все постигнут тайное тайных секса). Суверенитет народа, кажущийся справедливым и желанным, на самом деле может оказаться всего лишь демагогической иллюзией, которую распространяют дурные философы, а стало быть, еще одним клерикальным обманом. Ваша главная страсть, говорит Каза Вольтеру, — любовь к человечеству, эта страсть ослепляет вас (на самом деле Вольтер куда более пессимистичен, и Каза борется здесь скорее с последующим «вольтерьянством»). Бойтесь оказаться Дон Кихотом навыворот, абсолютизация разума может обернуться безумством. Вы говорите, что правительство Светлейшей Республики — деспотия. Но я, Каза, в свое время «перегнул палку». И та степень свободы, какую допускает Венеция, — самый приемлемый вариант при аристократическом правлении.

Мы видим, какой путь проделал Каза с тех пор, как пустился в странствия по Европе (Франция, Голландия, Германия, Швейцария). Он держится начеку (чуя также последующее развитие событий, а именно победу морали руссоизма и возврат ханжества). Он, сбежавший из тюрьмы, осужденный за атеизм, *предвидит,* каковы будут грядущие два века. Осуществление желаний имеет свои резоны, и разум должен эти резоны понять. Ариосто помог мне освободиться, а вы, уверены ли вы, что, не признавая Ариосто, вы не лишаете себя свободы? Каза очень изящно излагает все это автору «Девственницы», произведения, конечно, забавного, но которое все же не идет ни в какое сравнение ни с «Одиссеей», ни с «Гамлетом». Точка зрения Джакомо тем более интересна, что, как легко догадаться, он отнюдь не принадлежит к числу восторженных поклонников Жанны д'Арк. Ну ладно, ограничимся одним — докажем Вольтеру, что мы можем прочитать ему наизусть все произведения Горация. Принц де Линь отмечал: никто не знает классиков так хорошо, как Казанова. Пожалуй, если и было время, когда именно из-за этого Каза производил впечатление отсталого (или вышедшего из моды), в наши дни вдруг, причем по той же самой причине, он оказался даже *в авангарде.*

Поэзия, оргии. Одно неотделимо от другого. В Женеве при содействии местного сообщника (члена муниципалитета, кутилы и вуайёра) Каза однажды вечером запирается с тремя хорошенькими девицами, одну из которых зовут Элен. Само собой, в дело идут презервативы — девицы боятся забеременеть. Спора нет, Вольтер — великий человек, «насмешливый, остроумный, едкий», а его племянница и добропорядочная любовница мадам Дени очень приветлива, но все-таки по ночам в его доме такому молодому еще мужчине, как Джакомо, не хватает поэзии. Ему лучше в благоустроенном борделе с тремя нимфами. Словом, нет поэзии без оргий. И точно так же никакая оргия не в радость без поэзии (иначе ты опускаешься ниже прозы, и все становится реалистичным, а стало быть, жалким). Искусство наслаждения — это искусство поэтическое, и наоборот. Дерзость, вкус, пыл, письменный стол, пища, вино, постель и чувство ритма.

Вот почему поверхностные разговоры о «Казанове и наслаждении» или о «либертинаже XVIII века» в журналах, на экране, а также среди недалеких писателей и ученых (вот уж на кого не польстишься во время оргии — и смотреть-то не на что) гроша ломаного не стоят. Все, что говорится, — отражение современного убожества в области секса и ностальгии по «золотому веку», когда, между прочим, такая болтовня была не в

чести. Нынче пишут дрянные, скучные романы, топчутся вокруг святилища, не переступая его порога. Развелся целый штат работников эротики, тупостью и тяжеловесностью не уступающих штатным цензорам. Рынок контролируют ловкие дельцы, на нем процветают бездарные писаки, считающие, что талант к сексу, так же, как к музыке или живописи, есть у каждого. Это называется втирать очки, ведь на самом деле никому не угнаться за такими игроками, как Казанова, Лакло или Сад. Сочиняют все кому не лень, и немощная фантазия авторов вполне под стать невзыскательному вкусу публики. Те, кто кормятся этим делом (не говоря уж о полиции), всерьез полагают, что Казанова, как они выражаются, «похабный» писатель. Нет, это не игроки, а шулеры, в них нет изящества, одна глупость да невежество.

Под пером Казановы все обращается в золото — побег из Пьомби принес ему славу писателя. Он может быть кем угодно: бабником, блудодеем и рукоблудом, совратителем и сластолюбцем — для него все естественно, все нормально. Это мы, а не он, поднимаем скандал. Мы устанавливаем границы, рамки, сортируем и навешиваем ярлыки. Мы притворяемся, будто любим Казанову, а сами его ненавидим — так ярмарочный фотограф завидует художнику.

Да и что делать либертинам во времена всеобщей депрессии? Они исчезли, как исчезли поэты, — как знать, остался ли хоть один носитель дионисийского огня, что пылает в священной ночи? Нет, кроме шуток, сегодня стихия, о которой идет речь, под запретом: уходи в подполье, а иначе никак. В крайнем случае, чтоб тебя оставили в покое, назовись развратником, маньяком, извращенцем — так для людей понятнее. Захлопнем же двери и ставни и восстановим в правах *искусство композиции.*

* * *

Эпоха Просвещения — это Бах и Моцарт, Казанова и Сад, места хватало всем. У этих людей бездна времени, целая бесконечность. Они повторяются, изощряются в фугах и вариациях, набираются сил и делают рывок, они, по замечательному выражению Хайдеггера, «нерасточимы». Как реки, как природа. Они тратят направо-налево деньги, талант, «телесную влагу». Может ли обессилеть Слово? Простые смертные утомляются, они же — никогда. Оглядка, расчет, экономия им не известны. Как будто прорвалась плотина полуторатысячелетней давности. Происходит оргазм Времени, который закономерно проявляется в триумфе личностей, в слитном сиянии немногочисленных, но мощных светочей.

Ницше почувствовал это во французском великолепии той поры: это внезапная солнечная вспышка, новое чудо, подобное греческому и даже его превзошедшее. Праздник, разгул, авантюра, юмор, любовь, острый ум, движение, скорость, отвага, взбалмошность и при всем том величайшая серьезность в подходе к наслаждению и к жизненному опыту. Такую чрезмерность сочли порочной и наказали. В ней был и аристократичный, и народный дух, иначе говоря, дух женственный. Товар, который нынче называют женщинами и успешно продают на рынке, у современников Моцарта вызвал бы зевоту или смех.

Когда Каза пишет, что «скрепил своею кровью» последнее соитие (какой ужас! — скажет моя соседка) или что провел в любовных трудах пять часов (ужас, ужас!), он, может, в шутку и преувеличивает, но разве что самую малость. Постель как место, где заключают сделки? Буря негодования! «Идемте ляжем», — предлагает Каза женщинам, а те, как правило, не возражают (какой позор!). Наутро — деньги и карета. Драгоценности, цехины, луидоры, дукаты, флорины, гинеи, евро так и текут. Жизнь — рулетка, в которой ставкою слова, монеты, музыка и которая больше сродни урчащему компьютеру, чем сейфам крупных и мелких буржуа. Не имеет смысла прислушиваться к апокалипсическим прогнозам: мол, двадцать первый век будет новым восемнадцатым, или его не будет вовсе. Человеческая история, если обозреть ее всю, вызывает весьма ироническое отношение. Любовно-ироническое, без хулы или насмешки — как к хорошему роману.

Каза играет с жизнью, играет вместе с ней. В Шамбери он встречает монахиню, которая похожа на М.М. и носит то же имя.

Теперь в рассказе участвуют М.М.1 и М.М.2. Каза преподносит М.М.2 портрет М.М.1? Уравнение усложняется!

М.М.2 — убежденная лесбиянка, Джакомо должен быть польщен, услышав от нее: «Ты мне очень нравишься, как жаль, что ты не женщина!» Все же она испытывает на нем некие предохранительные средства, дело движется. На этот раз они проводят в постели двенадцать часов кряду, для М.М. это, можно считать, двенадцать *в квадрате*. Позднее Каза снова заедет в Шамбери и свидится со своей монашкой номер два, хотя их будет разделять монастырская решетка. При М.М. двенадцатилетняя девчушка, с которой она отлично ладит и которая позволит Казе пощупать себя сквозь прутья, затем с любопытством рассмотрит его Слово и *приобщится* его.

> «Исполненный благодарности, я прижался губами к восхитительному ротику, который высосал квинтэссенцию моей души и сердца».

В полицейском протоколе это называлось бы «актом орального секса». Современный писатель написал бы: «Она у меня отсосала» или «сделала минет». Это совсем не то.

(В Вашингтоне некая стажерка заявила в суде, что вступала с президентом США в «половые отношения определенного рода». И кажется, подробно все описала. За это я пошлю ей «Историю моей жизни» и эту свою книгу.)

Мастер композиции, Казанова совершенствуется в искусстве фуги. После двух М.М. появляются две Терезы. Тереза-вторая — это тот же Беллино, которого Каза через пятнадцать лет после первой встречи находит во Флоренции. В литературе мы видим нечто подобное у Бальзака и у Пруста; возвращение персонажа — признак победы текста над временем. В данном случае нас ждет большой сюрприз. Как мы помним, у Терезы-первой была от Казы дочь София шести лет. Ну а вторая Тереза предстает замужней дамой, матерью пятнадцатилетнего Цезарино. Мальчик вырос в Неаполе и ужасно похож на отца, то бишь на Казанову Он музыкант, играет на клавесине. Все обедают дружной компанией. «Это один из счастливейших дней в моей жизни», — записывает наш удивительный холостяк, родивший по меньшей мере троих детей (третий — тот, которого он сделал Дюбуа). Думается, перед исследователями открывается тут обширное поле деятельности. Куда девались потомки Казановы? Какова их судьба? Кто их дети, внуки и так далее до наших дней?

Каза — сюрреалист, каких мало. Этот философ-либертин, втайне склонный к роли патриарха, прибыл в Авиньон и ищет там следы Лауры де Сад[33].

> «Каждому итальянцу, который читал, слушал и оценил по достоинству стихи Петрарки, должно быть интересно побывать там, где сей великий поэт увидел и полюбил Лауру де Сад».

Дальше приводится стих Петрарки, по мнению Казановы, одна из лучших в мире поэтических строк:

«Morte bella parea nel suo viso», смерть на ее лице казалась прекрасной[34].

Представим себе (хронологически это вполне возможно) другого паломника в этих местах, двадцатилетнего маркиза де Сада. Двое приезжих встречаются, здороваются. По словам Сада, когда он был в тюрьме, ему являлась во сне прародительница Лаура и утешала в его невзгодах. Каза и Сад никогда друг о друге не упоминали, но запросто могли бы встретиться в Париже или где-нибудь еще. Как бы то ни было, их произведения стоят бок о бок, здесь и теперь, белым днем, на моем письменном столе.

«Смерть на ее лице казалась прекрасной». Каза приехал сюда в обществе красивой женщины, которая напускала на себя унылый вид, чтобы казаться интереснее (меж тем ее за глаза величают «надутой потаскухой»). Каза галантно напутствует ее:

> «Веселость, сударыня, это удел блаженных душ, тогда как уныние — гримаса обреченных на вечные муки. Будьте же веселы и таким образом достойны своей красоты».

В другой раз Каза говорит подружке: «Будь веселой, уныние меня убивает».

Унылые прокляты. Они тихо загоняют вас в гроб, иной раз тем, что гробят сами себя. Угрюмые безумцы, мученики неусыпной воли: главное — требовать, пусть требование ничтожно, все лучше, чем не требовать ничего.

В любви Джакомо почти не случалось давать осечку, терпеть фиаско (как говаривал Стендаль, которому часто мешала внешность или чрезмерная «кристаллизация»). Однако «в тридцать восемь лет я стал замечать, что злосчастный сей недуг настигает меня слишком часто». Таблеточку виагры, Каза? Нет, спасибо, мне еще надо дописать несколько глав.

* * *

Опять возникает на страницах записок Папа, но уже не тот. Не Бенедикт XIV, а Климент XIII, его преемник. Он принимает

Казу и вручает ему орден Золотой Шпоры (Моцарт получил такой же), к тому времени эта награда стала совсем незначительной, но Каза ею страшно гордился. Папа заверяет шевалье де Сейнгальта в своем «особом расположении» и благосклонно его выслушивает: Джакомо хотел бы, чтоб ему позволили вернуться в Венецию. Он в то время и правда подумывает, не вернуться ли. И не жениться ли? Например, на крошке Мариучче? Нет, вот он покорил другую — Леонильду, а вскоре в Неаполе узнает, что она его дочь. Положительно, дети так и валятся на него со всех сторон, чем дальше, тем больше. Было трое, и вот еще один ребенок. Точнее, еще одна, и он, сам того не зная, совершает инцест.

Леонильда — дочь Лукреции, той самой, с которой мы встречались прежде. Прежняя страсть загорается в Джакомо с новой силой. Далее следует неизбежная сцена. Начинается она торжественным речитативом, мать обращается к дочери:

> «Вот твой отец. Обними его, если же он был твоим любовником, забудь о своем преступлении».

И все трое застывают «со сладостной немой улыбкою».

(Тут впору пришлась бы какая-нибудь ария Моцарта, к примеру, из «Cosi fan tutte».)

Бывшая, все еще желанная любовница и ее дочь, а также и моя, с которой я только что переспал? В постель!

Леонильда с любопытством смотрит, как сходятся ее родители: «Вот, значит, как ты действовал восемнадцать лет тому назад, когда зачал меня!»

Нет, не совсем так. Чтобы «уберечь» Лукрецию, Джакомо ретируется.

> «Леонильда, растроганная до глубины души, одной рукой милостиво касается распаленного лона матери, другой подносит чистый платок к влаготочивому отцовскому оружию».

Надо ж отыскать такое слово — «влаготочивое»!

Но это еще не все. Лукреция, возможно досадуя на такое обхождение, просит Казу начать все сначала и дойти до конца (до «крови»), чтобы сделать ей «еще одну Леонильду».

Уф, хорошенького понемножку! Передохнем.

Во время этого нового пребывания в Риме Каза, по его признанию, участвовал в «самом инфернальном из всех бесчинств», что позволило ему «лучше узнать самого себя». Ему пришлось со шпагой в руке защищаться от содомитских

посягательств. Лишнее доказательство, что такие утехи ему не по нраву (что ж, нет в мире совершенства!). Когда он говорит о «педерастии», то имеет в виду совместную или взаимную мастурбацию. Любители этого занятия полагают, что в нем таится немало нераскрытых возможностей. Но сторонники другого образа действий, видимо, всегда мешают им своим буйством. Зато любовные сцены с двумя женщинами встречаются в записках очень часто, и если попытаться классифицировать вкусы Казы, то его придется признать, разумеется, не «лесбиянином», но любимцем лесбиянок. Немаловажный нюанс. Надо, конечно, подчеркнуть и периодически проявляющуюся тягу к трансвеститам, вполне в духе времени (опять-таки вспомним Моцарта). Вот, например, строки о некоем кастрате:

> «Мода требовала, чтобы к нему приезжали и в него влюблялись, кто пренебрег бы этим, прослыл бы у немцев последним человеком».

Мужеложество в порядке вещей. Каза его не осуждает, но зорко оглядывает спальни (а не подземелья) Ватикана. Кастраты, как известно, в течение долгого времени выполняли в папских кругах музыкальные функции. Нынешнее блестящее возрождение музыки барокко дает представление об этом феномене.

Подведем итог: переодетые мужчинами хорошенькие девушки или пригожие, как девушки, кастраты. Прибавьте к этому «свеженьких милашек» лет двенадцати-восемнадцати — таково распределение главных ролей в опере Казановы. Чуть не забыл монашек, ныне почти невостребованный тип, и вообще любых красивых женщин.

По словам Лакана, все, кто любят женщин — независимо от собственного пола, — гетеросексуальны. Если так, то многих женщин таковыми не назовешь, как и многих считающих себя гетеросексуалами мужчин. Казанова значительно проясняет этот вопрос. Он рыцарь познания. И он это прекрасно понимал, иначе не стал бы утруждать себя такой обстоятельностью и точностью. Первым в истории метафизики он рассматривал свое тело как объект эксперимента. Метафизика немало удивлена — она не привыкла направлять свои взоры в эту сторону.

Одна из хитростей Казановы заключается в том, что он много говорит о безумии маркизы д'Юрфе, не рассказывая при этом, что именно он делал, когда, потакая ее сумасбродствам, надолго запирался с нею. Каббала, магические пирамиды, поклонение Духам планет — все это отнимало много времени, и, поскольку он ни на йоту не верил в эту белиберду, можно предположить, что ему было жутко скучно. Конечно, это был способ заработать

на жизнь, поскольку одной карточной игры не хватало. Однако, как мне кажется, он еще и тренировал волю. Упражнялся в напускной серьезности, в запоминании и чтении наизусть, проходил своеобразную аскезу. То есть под видом алхимических штудий занимался своей личной алхимией. И эти упражнения немало способствовали его нынешней и будущей писательской славе.

Госпожа д'Юрфе начинает терять терпение. Где же обещанная операция, после которой она должна переродиться в мужском обличье? Увы, изворачивается Казанова, глава розенкрейцеров сейчас в Лиссабоне, в тюрьме, он в руках инквизиции. Я должен съездить в Аугсбург, на конгресс, который там скоро состоится, но мне нужны заемные письма и ценные вещицы для подарков, ну, всякие часы, табакерки, чтобы «задобрить невежд». Как-то, будучи проездом в Париже, Каза повел маркизу погулять в Булонский лес. А незадолго до того говорил ей, что где-то поблизости находится граф де Сен-Жермен, но она не поверила. И что же — вот он, на повороте аллеи. Мелькнул и скрылся. Госпожа д'Юрфе для проверки справляется у Шуазеля: все точно. Сен-Жермен всю ночь просидел у министра в кабинете, его посылают шпионить в Лондон. Выходит, эта полоумная, которая беседует с Духом Венеры Анаэлем, общается с людьми, стоящими на вершине власти. Секс, деньги, политика, шпионаж, ясновидение — кто дерзнет сказать, что времена изменились?

Германия обошлась с Казой дурно. Впрочем, будем справедливы:

> «Я переживал критическое состояние, злосчастный мой гений с нарастающей силой увлекал меня от одного безрассудства к другому».
>
> «Днями напролет я играл, проигрывал под честное слово, и обязательства уплатить долг на другой день тяготили меня все более».

Наказание не замедлило последовать: жестокая венерина болезнь, диета, ванны, ртутные растирания, операция, кровотечение. Дорога из Мюнхена в Аугсбург — крестный путь Джакомо Казановы. Но он чертовски живуч и немного времени спустя снова бодр и весел: «Едва здоровье мое поправилось, как я, позабыв о недавних невзгодах, снова пустился развлекаться».

Каза знакомится с Ламбергом, который навсегда останется одним из самых верных его друзей (сохранились его письма). После бурной ночи в трактире с некой уроженкой Страсбурга дела идут все лучше — он снова способен совершать «Великое Деяние». В Аугсбурге бургомистр спрашивает, отчего он носит два

имени: Казанова и Сейнгальт. По разумению этого доброго служаки, одно из них должно быть настоящим, а другое фальшивым. Отнюдь нет, возражает Казанова, оба имени такие же подлинные, как и я сам, стоящий перед вами:

«Алфавит есть всеобщее достояние, сие неоспоримо. Я взял из него девять букв и составил из них слово „Сейнгальт“. Оно мне понравилось, и я решил так именоваться…»

В конце концов, Вольтер поступил точно так же. Казановисты считают, что Казанова выбрал себе второе имя, перекроив имя датского ученого Снетлаге, которому послал в 1797 году свое знаменитое письмо о французском языке. Якобы Сейнгальт — это анаграмма Снетлаге. Но я предлагаю другое прочтение: *Сейнг* — от латинского *signum,* знак, значение и *альт* — от *altus,* высокий. Я высокого, достойного значения, как другие высокого рождения. Я родился вторично — и это второе рождение много важнее первого — из букв алфавита, сообразуясь со своим вкусом и с собственной свободной волей. Сам себя вызвал к жизни магическим заклинанием, вот оно как, милейший служака.

Но вы не можете, вполне логично рассуждает тот, носить какое-то другое имя, не то, какое носил ваш отец! На это Каза отвечает:

«А мне кажется, заблуждаетесь вы: ведь имя, которое вы носите по праву наследника, не существовало вечно, когда-то кто-то из ваших предков не получил его от своего родителя, а измыслил сам, иначе вы звались бы Адамом».

Но как же, как же, нервничает блюститель порядка, разве вам не известно, что есть законы против фальшивых имен?

«Против фальшивых — да, но повторяю, мое имя самое что ни на есть подлинное. Не имею чести знать вашего, но оно не более подлинное, чем мое, ибо вполне возможно, что вы вовсе не сын того, кого почитаете своим отцом».

Бургомистр улыбнулся — быть может, имея для этого основания. Вообще же напор шевалье де Сейнгальта его ошеломил (шевалье — тут и *caballus*[35], и каббала, и средневековый рыцарь[36]). Всеми своими речами Каза дал нам понять, во-первых, что он более высокого происхождения, чем все думают; во-вторых, что это не имеет никакого значения, поскольку благородная кровь ничего не доказывает и сама по себе не предполагает никаких достоинств; в-третьих, что о писателе (в том весьма специфическом смысле, который он придает этому слову) решительно все сказано в имени, каким он себя называет (даже если оно соответствует имени его родителя). Писатель разрубает биологическую или генеалогическую цепь, совершает акт свободной воли, выходящий из ряда вон и потому глубоко

осознанный. У французов — случайно ли? — произвольно переименовавших себя писателей особенно много: Мольер, Вольтер, Селин, Лотреамон, Нерваль, Стендаль… можно не продолжать.

В чем наша отправная точка? В способности *давать имена.* Остальное — сумбур, иллюзия, месиво, вавилон, спекуляция, бабий лепет в ночи, игра слепого случая, расчет экспериментатора, история болезни, ненадежное клонирование, паспорта, отпечатки пальцев, жизнь, подчиненная чужой воле, дележ наследства, полицейский контроль, расовые законы, лагерные номера, облавы, депортации, планомерная бойня, кладбищенский пейзаж, развеянный по ветру прах, коллективные мифы. Единственный кавалер собственного ордена, словесных дел мастер (вроде советника по военным делам в Венеции), Сейнгальт зовется также Казановой, а тот, не будем забывать, порой получает корреспонденцию на имя господина Парадиса. Ваш номер страхового свидетельства, сударь? Образование? Место работы? Семейное положение? Дети? Имя и адрес вашего нанимателя? Вероисповедание? Национальность? Состав ДНК? Ох, ладно, проходите, вы мне совсем заморочили голову!

31 декабря 1761 года Каза прибыл в Париж и заботами маркизы д'Юрфе шикарно расположился на улице Бак. Настало время решительных действий. Маркиза зовется теперь Серамидой, а Каза (мало ему Сейнгальта) — Галтинардом. «История моей жизни» — это, помимо всего прочего, волшебная сказка, которую сочинил чародей Казанова, целый эпос со злыми духами и нежданными помощниками — богами-покровителями или добрыми феями. Песнь о Роланде, Неистовый Роланд, Неистощимый Джакомо. Однако если приглядеться, то добрые и злые силы, верные друзья и предатели, честные люди и негодяи есть в жизни каждого человека. Каза постоянно балансирует на грани яви и чуда, правды и вымысла. Прокладывает курс между безумием и здравым смыслом, полагаясь на высший разум. Чуть больше, чем надо, отклонишься в одну сторону — заморочат химеры. Чуть больше в другую — затянет скука. Каза отмеряет, отрезает, рискует, обновляет ставки, пытает удачу. Счастье — вопрос интуиции.

С серьезным видом вещает он маркизе, что Духи семи планет укажут место, где он найдет девственницу, дочь посвященного, и «способом, известным лишь братьям розенкрейцерам», зачнет с ней мальчика. Нет лучшего предмета, чем зачатие, чтобы воспламенить женское воображение.

«Младенец должен был родиться живым, но с

> душою, наделенной лишь простейшими чувствами. Г-же д'Юрфе надлежало в тот самый миг, как дитя появится на свет, принять его в свои объятия и держать так семь дней, не покидая ложа. По прошествии этого срока она должна была умереть, прижавшись губами к губам мальчика, так чтобы в него вошла ее разумная душа. После же сей перемены я был обязан пользовать ребенка эликсиром, известным только мне, чтобы спустя три года г-жа д'Юрфе признала себя в нем, и тут уж я бы принялся посвящать ее в тайны высшего познания».

История с *метаморфозой,* или *перерождением,* будет почище, чем пасторальный роман «Астрея» знаменитого родича маркизы Оноре д'Юрфе. Для Казы это тоже крупное достижение в области словесности. Не следует упускать из виду, что маркиза должна написать завещание и назначить наследником всего своего состояния ребенка, а опекать его, пока он не достигнет тринадцати лет, предстоит Джакомо.

> «Эта величайшая сумасбродка приняла затею с божественной операцией за чистую монету и горела желанием увидеть девственницу, которая должна стать избранным сосудом».

Волшебная флейта Казановы исправит несправедливость христианского положения о непорочном зачатии. Почему это Дева Мария зачала сына, а не дочь? Вопрос серьезный. Переродиться мальчиком в духе не то сайентологов, не то адептов Солнечного Храма при посредстве розенкрейцеров — отличное решение.

Каза излагает этот свой сценарий, придуманный, чтобы протянуть время (он еще будет меняться на ходу), и прибавляет чудную фразу: «Я понял, что надобно найти какую-нибудь ловкую шельму и дать ей наставления».

На эту роль он берет девицу Кортичелли.

Они познакомились когда-то во Флоренции.

«В тринадцать лет она выглядела от силы на десять, белолицая, ладно скроенная, веселая, потешная, но что и как я мог в ней полюбить, не знаю сам».

Повзрослевшей Лолите Кортичелли Казанова предложит главную роль в своей опере. Она примет предложение, сулящее хорошие деньги. И вот по мановению волшебной палочки она становится графиней Ласкарис из старинного рода, когда-то правившего в Константинополе. До Константинополя не достанешь и не очень-то проверишь — ровно то, что нужно.

Маркиза принимает эту парочку в своем замке Пон-Карре, восторженно глядит на «девицу Ласкарис» (не слыша в этом имени подвоха[37]), раздевает ее, умащает, надевает на нее вуаль и присутствует при некой органической операции, которую Каза выполняет в целях предстоящего перерождения. Ничего сексуального, *разумеется,* но какая сноровка! Откуда берутся дети? Из первичной процедуры. Непристойность загримирована, любопытство насыщено, а заодно исподтишка получено и удовольствие.

Как и следовало ожидать, главная операция сорвалась — Кортичелли начала шантажировать шарлатана Казанову, и он был вынужден объявить, что она потеряла рассудок и, по всей видимости, «брюхата от гнома» — чем не «Ребенок Розмари»! Сколько бы теперь ни пыталась Кортичелли опорочить Джакомо, тем самым она лишь доказывала, что одержима злыми духами, которые чинят помехи искупительной миссии. Каза не унывает: ничего, мы повторим операцию в Экс-ла-Шапель. А пока, следуя каббале, вы, маркиза, должны написать письмо на Луну, то есть Духу Селенису.

> «Эта нелепость, вместо того чтобы образумить ее, наполнила ее радостью. Она пребывала в экстатическом восторге, и, даже захоти я растолковать ей тщетность ее упований, я, несомненно, только потерял бы время зря. Она сочла бы, что меня поразил враждебный дух и я перестал быть безупречным розенкрейцером. Однако я и не пытался излечить ее, ибо для меня сия попытка была бы крайне невыгодна, ей же не принесла бы ни малейшей пользы. Химерические мечты делали ее счастливой, тогда как отрезвление принесло бы только горе».

Примечательно, что Каза говорит: «не пытался излечить». Это все равно что сказать, что она не подлежит психоанализу или что в женщинах вообще есть нечто, лежащее за пределами разума. Истина, известная всем религиям, всем сектам, так же, как и жадной до зрелищ публике. Можно подумать, он хочет написать «Дон Кихота» наизнанку, где Санчо-философ сопровождал бы странствующего рыцаря-визионера ради его счастья. Поставлял бы ему великанов в виде ветряных мельниц и все прочее. В таком обмене ролями скрывается большой смысл.

Шевалье де Сейнгальт не странствующий рыцарь. Он мошенник, да и не скрывает этого. Хоть он нигде не говорит, в каких физических отношениях с г-жой д'Юрфе состоял, но это ясно и так. Впрочем, однажды он выдал себя, когда сказал

Марколине, своей помощнице в следующем варианте сценария, где он должен был совокупиться с маркизой, что *на сей раз* ему придется труднее. Еще бы: он подрядился сделать семидесятилетней маркизе (на самом деле ей было пятьдесят восемь) ребенка мужского пола. Она еще красива, но стара. Нелегкий труд! Пока же маркизу увезут из города, умастят ароматными травами, прочитают над ней заклинания и искупают в ванне, куда с ней вместе опустят спрятанное в руке письмо: круговые серебряные надписи на прозрачно-зеленой бумаге. Письмена проявятся в воде — о чудо! Сам Дух Луны отвечает и назначает искателям встречу будущей весной.

* * *

Ни дня без игры и без любви.

А также ни дня без размышлений.

Посмотрите на этого старого затворника замка Дукс, сидящего за письменным столом и с трепетом вспоминающего о молодости. Он пишет с утра до ночи и всю ночь напролет. На дворе зимняя стужа, снег. Или летняя жара. Сцена за сценой встают перед его глазами и складываются в рассказ. Как там было дело в тот вечер, когда во время карточной дуэли не на жизнь, а на смерть Каза чуть не падал со стула от утомления? Ах да, ему удалось сбить с толку вернувшегося из нужника противника какой-то дурацкой репликой.

> «Хитрость моя удалась, потому что была непредумышленна и, значит, неожиданна. Точно так же обстоит дело на войне: военная хитрость должна сложиться в уме военачальника применительно к каждому особому случаю и особым обстоятельствам, чему содействует привычка в единый миг оценивать сложные взаимные отношения людей и вещей».

Отбить удар, ответить, поразить острым словцом. Атака, выпад, попадание. Все с быстротою молнии. Казанова согласен с Фридрихом Прусским: «Скука — вечность, смерть — один миг». Он пишет, чтобы не томиться скукой и не сойти с ума. Последнее слово все равно будет за смертью, но она лишь заверит все предыдущие.

Иногда ему снятся сны. Он видит светозарное пространство, а в нем «множество глаз, ушей, ног, рук, губ, носов, детородных органов обоих полов и других неведомых мне органических форм. Все это восхищало гармонией…».

Каза в восторге. Еще бы — он видит Бога и вступает с ним в беседу. И Господь говорит ему поразительные вещи. Например: «Я подобен совершенному шару на поверхности человеческого разума; и этот шар не может катиться туда, куда его толкают, потому что поверхность вся в буграх и рытвинах». Или: «Если бы я понимал себя, то не был бы бесконечным». Или вот еще: «Изучение моих свойств породило неверие, а гордость вкупе с невежеством его поддерживали и поддерживают».

Время от времени Бог велит сновидцу повернуться на другой бок и продолжает откровения. Мы узнаем, что его ничуть не тревожат ни атеизм, ни суеверия, ни человеческие страсти. Будь честен, говорит он Казе, и этого достаточно. А в остальном… «здоровая философия — удел одного из ста тысяч, поэтому ясно, что нравственного зла в мире в сто тысяч раз больше, чем добра». А физического? «Физического зла не бывает. Такова природа мироздания. Все, что кажется дурным, на самом деле хорошо. Повернись и посмотри с другой стороны». Как видим, Бог чувствует себя вольготно и ничуть не озабочен современностью.

> «Поскольку материя так же бесконечна, как я сам, я не могу ее определить: она не имеет первоначала, и я не могу судить о ней. Я же есмь вечное начало духовное.
>
> — Но ты пребываешь в пространстве?
>
> — Нет, ибо я нематериален, и мне как духу, реальному и нематериальному, не место в пустоте.
>
> — Значит, нельзя сказать, что ты везде?
>
> — Везде, кроме пустоты».
>
> Бог даже изощряется в афоризмах:
>
> «Меня в равной мере занимает все сущее, поскольку у каждого существа имеются свои требования».
>
> Или:
>
> «Если бы люди не изобрели религий, не было бы пагубных предрассудков и суеверий и никогда уделом человеческого рода не стало бы невежество».
>
> Наконец, еще одна столь же мудрая мысль:
>
> «Истина существует, и она независима, но от нее мало толку, ибо стоит ее высказать, как она превращается в ошибку».

Под этим высказыванием вполне мог бы подписаться сосед Казы по Праге, которого тогда еще не было на свете, — Франц Кафка.

Но вернемся в Швейцарию и к «богослов-девице» Гедвиге. «Эта белокурая красавица, — говорит Каза, — воспламенила меня прелестью своего ума». Ей задают вопросы, она отвечает. И

просит, чтобы задавали потруднее. Например: что бы произошло, если бы Иисус совершил плотское соитие с Самарянкой? То есть какой природы был бы плод этого союза?

Тут встревает Каза. Гедвига замешкалась, и ей был преподан наглядный урок. «Иисус был не способен к эрекции», — сообщил он богослову в юбке. Та недоумевает: о чем это он? Каза производит демонстрацию: вот орудие-слово, которое творит людей, а вот выделяемая им «влага жизни» и т. д.

Приемы нашего змия неизменны. Но главное тут — опять-таки композиция. Казанова использует этот эпизод, чтобы ввести в повествование темы, которые его по-настоящему интересуют, высказать свои взгляды о «непостижимости» Бога. Его напрасно считают атеистом. Ничто божественное ему не чуждо, и его практика это подтверждает. Богословствующая дева оказывается весьма способной ученицей. Дабы приобщить ее не греху, а познанию, Каза решает действовать не в одиночку, а вместе с кузиной Гедвиги Элен. И между прочим делится с нами законом, который открыл «за свою долгую карьеру либертина», имевшего дело с «несколькими сотнями женщин»:

> «При осаде неискушенных, там, где успеху мешали моральные принципы либо предрассудки, неизменно помогало то, что я являлся не один, а в обществе другой женщины… Слабость одной ускоряла падение другой».

Шли в ход три козыря: соблазнительный пример, любопытство, благоприятный случай.

Наставник и ученицы отправляются в постель, «не прерывая рассуждений о стыдливости». Каза лишает невинности обеих, член его «прикрыт чехлом безопасности». Гедвига — «пытливый физик», она все с интересом созерцает. Элен немногословна, но более активна.

> «Мы снова принялись за дело; зная свою натуру и легко вводя обеих в заблуждение, я несколько часов услаждал их, раз пять или шесть переходил от одной к другой, прежде чем исчерпал свою силу и достиг высшей точки наслаждения».

Вполне возможно, что пережившему все это в конце концов стал являться во сне Господь Бог. Казанова — это в своем роде явление масштаба Коперника или Галилея, однако, на мой взгляд, недостаточно оцененное.

Не надо думать, что все всегда проходит с такой идеальной легкостью. В Турине Каза задевает одну графиню испанского

происхождения. И она ему мстит.

Приглашает его к себе и предлагает попробовать с нею вместе забавный нюхательный табак, от которого чихают до крови. Так они и чихают вдвоем. Смешная игра.

На другой день к Казе является какой-то капуцин и, нарушая тайну исповеди, советует ему наведаться по некому адресу. Каза попадает к колдунье и видит у нее склянку, в которой смешана кровь от вчерашней забавы. Джакомо дает ей денег и расспрашивает:

> «— Что вы собираетесь сделать с этой кровью?
>
> — Введу ее вам.
>
> — Что значит „введете“? Каким образом? Мне непонятно.
>
> — Сейчас увидите.
>
> Не успел я изумиться, как обстановка переменилась. Колдунья открыла сундучок с локоть длиной, и я увидел в нем лежащую навзничь обнаженную восковую куклу. Я прочел на ней свое имя и узнал свои черты, хотя и изображенные очень грубо, на шее идола красовался мой крест. Определенными частями тела кукла походила на бога Приапа. При этом комическом зрелище на меня напал безумный смех, я рухнул в кресло и не встал, пока не отдышался».

Каза не суеверен. Но:

> «Хоть за эту мерзость пришлось мне раскошелиться, я все же был рад, что послушал доброго капуцина, искренне уверенного, что мне грозит гибель, и все узнал. Он, вероятно, узнал о том, что затевается, на исповеди от той самой дамы, которая отнесла кровь колдунье. Подобные чудеса случаются с изустной католической исповедью нередко».

Графине он, разумеется, ничего не сказал. Напротив, на другой день засыпал ее подарками. Ведь она могла бы найти другой, более верный способ его убить.

* * *

Не следует упускать из виду, что, сочиняя свою «Историю», Каза был уверен, что ее никогда не опубликуют. Не считая врача-ирландца, который посоветовал ему писать воспоминания в терапевтических целях, все вокруг, кто более, кто менее решительно, эту затею не одобряли. Как можно! По временам он

перебирал ворох исписанных листов, перечитывал, исправлял какую-то главу, вымарывал страницы, имена, впадал в уныние и думал, что лучше бы все сжечь. Но все же продолжал. *Sequere Deum* — Бог, как всегда, на кончике его пера.

Себя он не щадит. Нередко похождения его неблаговидны, особенно в тех случаях, когда он лишает невинности очередную девушку с оплаченного согласия ее родичей. Периодически возобновляющиеся болезни в конце концов нагоняют скуку, нередко создается впечатление (вполне оправданное), что он не знает сам, куда идет. А путь его ведет сюда, к столу, за которым мы его и видим пишущим. Чего же он хочет? Какова его цель? Он так старается выговорить все до дна, но на дне оказывается загадка. И все же мы его читаем, как будто он открывает нам тайны, сокрытые за семью печатями. Давно уже мы можем без стеснения отбросить прочь значительную часть того, что выдается за шедевры на мировом книжном рынке. Что же мешает так же поступить и с этой книгой, в которой ничего не происходит? Но нет, достаточно Казе увлечь нас на миланский карнавал, или на бал, где он до упаду отплясывает контрдансы, или в очередное амурное приключение, когда «пять часов пролетают, как пять минут», или на пир, где переодевание путает все карты, — и мы с восторгом и любопытством устремляемся за ним. Уступит ли начитанная малютка Клементина после долгой осады? Нет? Не важно, комедия продолжается, за этим эпизодом будут новые.

> «Fovet et favet (лелеет и благоприятствует) — таков был мой излюбленный девиз, таким, благодаря природному моему добросердечию, он остается доселе и останется до самой смерти».

Брат Казановы, священник, бежал с девицей по имени Марколина. Каза недолго думая забрал ее себе. В обществе Розали, Аннетты и конечно же этой «племянницы» он припеваючи живет в Генуе. И до чего же приятно ему писать вот такое: «Племянница, сделавшись моею любовницей, распалила меня». А между тем в Марселе его ждет не дождется Серамида, то бишь маркиза д'Юрфе.

«Я предавался без удержу любострастию, я любил эту жизнь и не считал зазорным попользоваться женскими бреднями — ведь она только того и желала, чтоб кто-нибудь ее одурачил. Я предпочитал, чтоб это был я, и ломал комедию»*.

Все то же оправдание. Впрочем, он отдает должное маркизе:

> «При всем своем безумии г-жа д'Юрфе была великодушна».

Предписания «оракула» недвусмысленны: Каза должен «оплодотворить» г-жу д'Юрфе, после того как оба совершат очистительное омовение в купальне. Джакомо боится, как бы не «дать осечку» во время предстоящего деяния. Ундина? Вот роль для Марколины! Даже в рифму подходит. «Ежели читателю доводилось заниматься магией, он поймет меня».

Пассано, неудачливый соперник на роль «оплодотворителя», разоблачает Казанову. Но тот выставляет его самого одержимым черными силами. Доказательство — его поразила скверная болезнь.

По обряду следовало принести в дар семи планетам драгоценные металлы. Для этого были приготовлены особые шкатулки, однако же, вместо драгоценностей, в них лежал свинец. Шкатулки бросили в море. Ундина-Марколина великолепна. Представляясь Серамиде, она протягивает ей записку: «Я нем, но я не глух. Я покинул Рону, чтоб искупать вас. Час настал»*. Все совершается согласно приказаниям короля саламандр Оромазиса. Г-жа д'Юрфе воспламеняется все больше. «„Мне трудно было жалеть эту женщину, уж очень она была смешная", — признается Каза. Он, Галтинард, готовится стать и мужем, и отцом Серамиды. И я познал Серамиду, восхищаясь прелестями Марколины, коих дотоле мне не случалось столь сладостно зреть»*.

Затруднение в том, что процедура оплодотворения должна для верности повториться трижды.

«Возбужденный Ундиной, иду я в другой раз на приступ еще более продолжительный, ибо час-то длится шестьдесят пять минут. Я вступаю на поле брани, тружусь полчаса, обливаясь потом, утомляя Серамиду, но кончить не могу, а плутовать стыжусь; она утирает мне со лба пот, что стекает с волос, смешавшись с помадой и пудрой, Ундина дерзновенно ласкает меня, сохраняя силы, меня оставляющие, когда я касаюсь дряхлого тела…»*

Сцена патетическая или, как на чей вкус, комическая. Каза притворился, будто довел дело до конца, что от мужчины требует больше симулянтского таланта, чем от женщины. Как правило, мужчинам даже в голову не приходит, что их партнерши притворяются. Женщины более проницательны, но все же и их можно провести. («Даже Марколина обманулась».)

Каза, ставший заложником своего сценария, должен выдержать еще одно соитие, посвященное Меркурию. Марколина щедро расточала ласки, как положено водному духу, чем несказанно удивила г-жу д'Юрфе-Серамиду.

> «Она просила восхитительное создание осыпать меня дарами своими, и тут-то Марколина выказала все, чем славятся питомицы венецианской школы. Она обернулась лесбиянкой и, видя, что я восстал, подбодрила ублажить Меркурия; но вновь все то же: хоть молния и сверкает, гром никак не грянет. Я видел, что труд мой уязвлял Ундину, видел, что Серамида мечтала окончить поединок, длить его я больше не мог и решил обмануть ее второй раз агонией и конвульсиями, а затем полной неподвижностью, неизбежным следствием потрясения, кое Серамида сочла беспримерным, как она мне потом сказала»*.

Следует ли это понимать так, что, выражаясь современным языком, эрекция у Казановы наступает, а эякуляция — никак? Вероятно, нет. Так или иначе, вызывает восхищение и его профессиональная добросовестность, и чисто женский дар имитировать экстаз. В наши дни этот тяжкий труд могло бы заменить искусственное осеменение в самой рядовой клинике. Без всяких Оромазисов, Меркуриев, Ундин и «молний». Мастурбация в кабинке, сперма, оплодотворение с помощью шприца. Правда, медики вряд ли рекомендовали бы такую операцию маркизе д'Юрфе, хоть Каза в своей «Истории» ее безбожно старит: дает ей семьдесят лет, тогда как на самом деле ей было всего пятьдесят восемь. Но все же наука дает надежду даже женщинам за шестьдесят. В конце концов, бывают ненормальные гинекологи.

В общем, пока это дело довольно сложное. Клонирование его упростит, к тому все и идет. Возможно, нынешние граф де Сен-Жермен или Казанова маскируются под генетиков и проворачивают свои махинации в каких-нибудь тайных лабораториях. А американские миллиардеры, свихнувшиеся на оккультных науках, приходят к ним в надежде на «перерождение» или на бессмертие. Все возможно в этой бесконечно расширяющейся галактике, человеческая комедия еще только начинается.

Г-жа д'Юрфе спрашивает оракула, успешно ли прошла магическая операция. Каза не теряется:

> «Я отвечал, что солнечное семя проникло в ее душу и она родит в начале февраля себя самое, но только мужеского полу»*.

А пока он отправляет маркизу в постель, где она должна пролежать в полном покое сто семь часов. Ему не терпится

соединиться с горячо влюбленной в него Марколиной, и он проводит с ней ночь не хуже, чем, бывало, в Парме с Генриеттой и в Мурано с М.М. (высшая оценка по шкале Казановы). «Я не покидал постель четырнадцать часов и четыре из них посвятил любви»*.

В «венецианской школе» есть своя прелесть.

Марколина заработала роскошное ожерелье и шестьсот луидоров. Она не хочет расставаться со своим шевалье де Сейнгальтом. Нет, убеждает он ее, ты сыщешь себе мужа. Нет, противится она, возьми меня с собой, я буду тебе нежной подругой, «я буду любить тебя сильней жизни, холить, как родное дитя, и никогда не стану ревновать»*.

Вот клятва истинной любви!

Г-жа д'Юрфе тоже весьма довольна. «Женитесь на мне», — предлагает она Казе, но он уворачивается, ссылается на то, что тогда, переродившись и став его сыном, она будет объявлена незаконнорожденным. Так что будем благоразумны и попросим новых указаний оракула. Вопросы, ответы, снова вопросы и снова ответы — дело кропотливое.

Наученный сценой с М.М. и К.К., внимательный читатель «Истории моей жизни» явственно улавливает в рассказе продолжение лесбийской темы. Как тут не вспомнить Пруста, исследователя времени. Марколина преспокойно признается, что это пристрастие проснулось в ней в семь лет, а к десяти она успела поразвлечься с тремя-четырьмя сотнями подружек. В Эксе к ней липнет некая графиня (ничего удивительного: «почти все провансальские женщины имеют эту склонность, что только добавляет им привлекательности»). Каза ревнует, но не слишком. Альбертина, то есть, простите, Марколина, безмятежно говорит ему наутро:

> «Мы предавались всяким сумасбродствам, на какие, как ты знаешь, горазды женщины, когда ложатся вместе».

В самом деле, что тут такого? А поскольку «ученица Сафо» получила в награду перстень, шевалье быстро ее прощает. Но вот эффектный поворот. Марколина дает ему письмо от графини, с которой провела ночь, состоящее из одной подписи: «Генриетта». Ну, думает читатель, тут уж Каза хватил через край. Нет, просто он хочет сказать (и Пруст ему вторит), что мир — большой бордель, где сплошь и рядом совершаются кровосмешения, которые обнаруживаются со временем. Однако героя-повествователя из эпопеи Пруста невозможно представить себе на месте Казановы между Марколиной и Иреной:

> «Почти всю ночь провел я, потакая неистовым играм двух этих вакханок, которые оставили меня не прежде, чем убедились, что я ни на что более не годен и уж не смогу воспрянуть».

Утром Каза находит обеих спящими, «свернувшимися, как две змейки». Эти «цветы зла» не вызывают у него ни малейшего чувства вины, ни о каких «проклятых женах» нет и речи. Откуда же взялась в позднейшие времена мрачная адская тень, сопутствующая этой теме у Бодлера, у Пруста и во всей литературе? Откуда эта вековая печать? Вопрос заключается в том, можем ли мы читать Казанову иначе, чем тайком или, еще того хуже, делая вид, что находим все, о чем он пишет, банальным. Есть еще третий, так сказать, последний вариант: вообще ничего больше не читать — и это то, к чему, кажется, приближается нигилизм конца XX века. Впереди расцвет обскурантизма. Если только мы не захотим понять полное глубокого смысла замечание шевалье де Сейнгальта:

> «Я радостно постигал, что для того, чтобы наставить разум на путь истины, надо прежде ввести его в заблуждение. Ибо свету предшествует тьма».

* * *

Казанова в Лондоне. Поначалу он любуется английской опрятностью и порядком, посещает свою дочь Софию, с которой уже десять лет безуспешно пытается завязать роман, и, вынужденный довольствоваться публичными девками, отсылает с десяток не пришедшихся ему по нраву. Плохой знак.

Что делать? Он вешает над своей дверью объявление, что квартира, находящаяся этажом выше, сдается задешево «одинокой и свободной молодой барышне, говорящей по-английски и по-французски, которая не станет принимать визитеров ни днем, ни ночью».

Это значит затеять игру прямо на улице. И фокус удается. Вот объявляется Паулина, бежавшая из Португалии после убийства короля, которое приписывали иезуитам. Каза демонстрирует неожиданную осведомленность в тайных интригах католических дворов. Паулина рассказывает ему свою историю и падает в его объятия — о счастье! «Услады следовали друг за другом нескончаемою чередою, пока не иссякло в нас вожделение». Опять сравнение с Генриеттой. Но близится буря, внезапная и ужасная.

Казанова не раз говаривал, что комедия его жизни состояла

из трех актов. Первый — с рождения до пребывания в Лондоне, второй — с лондонского периода до окончательного изгнания из Венеции в 1783 году. И наконец, третий — с начала этого изгнания до уединения в Дуксе, где, пишет он, «я, видимо, и умру».

«В тот роковой день в начале сентября 1763 я начал умирать и перестал жить. Мне было тридцать восемь лет…» *

Грянувший гром носит имя Шарпийон.

> «В красоте ее трудно было найти изъян. Светлые волосы, голубые глаза, безупречно белая кожа… Небольшая, но совершенной формы грудь, изящные, мягкие ручки с длинными пальцами, крошечные ножки, поступь уверенная и гордая. Нежное чистое лицо, казалось, отражало душу, наделенную тонкими чувствами, и дышало благородством, обыкновенно связанным с высоким происхождением. Вот тут-то, в этих двух вещах, природе вздумалось солгать. Уж лучше бы ложным оказалось все остальное, здесь же пусть бы внешность не расходилась с истиною. Девица эта, по собственному ее признанию, замыслила против меня худое еще прежде, чем свела со мною знакомство».

Ей семнадцать лет. Как раз созрела для продажи.

Первое, что вызывает недоумение (в связи с дальнейшими несчастьями), это как мог Казанова, профессионал, влипнуть в такую нелепую и скверную историю? Как этот феникс Амура угодил в силки, точно наивный голубок?

Впрочем, так бывает: порой лучшие игроки оказываются слабейшими. Виртуозу случается перемудрить. Казанова мог бы не рассказывать историю самого большого поражения, постигшего его «на половине земного пути» (как он говорит, перефразируя «Божественную комедию»). Однако рассказывает, потому что этот страшный просчет довел его до самоубийства, лишь случайно не завершенного. Самоубийство противоречит всем его представлениям о мире. Значит, затронуты самые основы мировоззрения. Кажется, Казанова вменил себе этот рассказ в обязанность, чтобы лучше разобраться в происшедшем.

С некоторых пор Каза захандрил. Он, кажется, уже не так жаден до приключений, они утомляют его душу, а еще больше — тело. Сказывается переезд в северные края? Не только. Просто он стареет и, по своему излюбленному выражению, уже «не ослепляет с первого взгляда». Ему казалось, что он, как всегда, ведет игру ради игры, по обычным правилам. Но на Шарпийон он споткнулся. Людей, сведущих в истерическом интриганстве, ее

поведение ничуть бы не удивило, Джакомо же не привык к тому, чтобы его то разжигали, то отвергали и при этом цинично использовали, его такая тактика ставила в тупик. Вернее, он не мог вообразить, что сам окажется ее жертвой: ведь по сути Шарпийон на него похожа, поэтому он так и негодует. Сходство бесит, но и дразнит его, как дразнит постоянное, умышленное ускользание кокетки. Шарпийон умеет, отталкивая поклонника, завлечь его сильнее. Она все время поднимает ставки, подобно опытному игроку в покер. И играет наверняка: проигрыш исключен.

Джакомо привык щедро одаривать женщин: либо счастьем разделенной страсти (пусть даже оно вводило его в некоторые расходы), либо просто звонкой монетой. Привык быть желанным. Обычно он приступает к делу весьма решительно, ждет ответа, и дальше все идет как по маслу. Но на этот раз… с такой, как Шарпийон, в такой стране, как Англия, в таком возрасте, как у него (он этот возраст точно обозначил)… все не так: другое место, другое время, и наш герой превратился в беспомощную марионетку. Именно история с Шарпийон послужила основой для повести Пьера Луиса, которую он озаглавил «Женщина и паяц» (поразительно, как много писателей вдохновил Казанова — *как будто сам он ничего не написал!* — среди прочих Аполлинера с его наброском «Казанова, пародийная комедия», образчиком того пренебрежительного отношения к фактам, жертвой которого всегда был автор «Мемуаров»).

Джакомо столкнулся со сплоченным женским кланом. Бабка, мать, две тетки, служанки и хорошенькая смышленая девушка семнадцати лет — приманка, с помощью которой добываются средства к существованию всей оравы. Она продается, но цену за нее хотят самую высокую. Такова семейка Ауспургер, во главе с самой прародительницей, урожденной Бруннер. В одном полицейском донесении о них говорится как о «своре опасных бабенок, плетущих сети лжи и клеветы». Каза, в конце концов, и сам назовет их «сучьей сворой». В помощниках у них трое мужчин, загоняющих дичь, в числе которых знаменитый Гудар, автор книжонки «Китайский шпион»[38] (Казанова внес свою лепту в виде писем в ее создание).

Шарпийон — имечко, само по себе весьма знаменательное. В нем слышится и «гарпия», и «пиявка», и пышный «пион», и ядовитый «скорпион». Из него получился бы отличный глагол — «шарпийонить». Во всяком случае, Казу она таки крупно «ошарпийонила». Кокетка? Да, но к тому же искренняя. Фальшь составляет в ней часть истинной природы.

Джакомо клюнул, попытался, по своему обыкновению,

атаковать красотку, но та увернулась. Раз, другой.

> «Я перестал настойчиво осаждать ее, когда она сказала, что ни деньгами, ни силой мне никогда ничего от нее не добиться, однако же я могу надеяться на ее дружбу, если стану вести себя с нею наедине как кроткий барашек».

Стань барашком, коли хочешь быть моим львом. Прекрасным и благородным[39]. Претендент на роль льва упирается, не желает ронять свое достоинство, решает забыть об этом неприятном деле и отправляется угощать сладостями свою дочь. Но речи о барашке запали ему в душу. Для записного сластолюбца есть в этой идее какое-то мазохистское искушение, пикантна сама ее несуразность.

А если его еще и снова подогреть… Одна из теток сожалеет, что Казы больше не видно, говорит, что Шарпийон скучает по нему, что она простужена и не встает с постели. Наш полулев растроган, приходит в дом красотки и якобы случайно застает ее в ванне в чем мать родила. Новая атака — новое поражение. Он взбешен, но она его опять заводит. Ужин вдвоем, Каза выпивает лишнего, и теперь всё. Его окрутили, Шарпийон возымела над ним «непререкаемую власть».

Вспомним, в каких обстоятельствах разворачиваются события: Каза не знает английского, не знаком с местными законами, тайная миссия, которую он выполняет (и о которой умалчивает), должно быть, не ладится, своей физической формой он недоволен. Шарпийон, ее мать, ее тетки, служанки и подручные все это поняли (учли и пресловутые «тридцать восемь лет»). Барашек-голубок вообразил, что бедная девочка всего лишь делает то, что ей велят домашние, и решил объясниться с ними начистоту. Гудар уже попытался обдурить его: предложил купить кресло с пружинным механизмом, который прикует к месту предмет его вожделения (а дальше — привлечение к суду за изнасилование). Но Джакомо еще не до такой степени потерял рассудок. Через посредство того же молодчика он предложил матери Шарпийон сто гиней за право провести с дочкой одну ночь. Он думал, что таким образом все устроит, на самом же деле увяз еще глубже.

Шарпийон разыграла перед ним оскорбленную гордость. Вы ничего не понимаете, сказала она Казе, упавшему в ее глазах до четвертьльва, я люблю вас, но вы должны сделать так, чтобы я вас полюбила еще больше, заслужите меня, поухаживайте за мной, походите к нам домой хоть две недели. Ну а потом, ладно уж, давайте свои сто гиней. И кроткий барашек получит награду.

Чтобы затянуть петлю потуже, она толкует о любви, обливаясь слезами. Потрясающая, великолепная, душераздирающая сцена, а сколько искренности — ни дать ни взять новая Элоиза (если не считать одной маленькой детали — денег).

«Эти речи заморочили меня», — пишет Каза, безжалостный к самому себе. Он увяз в сентиментальном романе дурного вкуса, который, как ему следовало бы знать, длится бесконечно. В ту пору была в моде знаменитая «Памела, или Вознагражденная добродетель» Сэмюэля Ричардсона. Казанову же притягивает, словно магнитом, фальшивая добродетель, детище порока. Он находит эти спектакли немножко вычурными, но исправно ходит на них. И разумеется, не с пустыми руками.

Проходит две недели, наступает обещанная ночь любви. Но тут — новое осложнение:

> «Как только она легла, я придвинулся к ней, чтобы заключить ее в объятия, но встретился с помехой еще худшей, чем верхнее платье. Облаченная в длинную рубашку, она вся сжалась, обхватила себя руками, опустила голову и в ответ на все мои слова упорно молчала. Я устал уговаривать и перешел к действиям, но она все так же лежала не шевелясь, словно испытывая меня. Я было принял это за шутку, однако вскоре убедился в своей ошибке. Меня обуяло неистовство, я обзывал себя болваном, простофилей, последним ничтожеством, ее же — мерзкой шлюхой».

Барашек приходит в ярость, вдруг обнаруживает львиные когти и пытается получить свое силой. Он раздирает рубашку на спине Шарпийон, овладевает ею, но толку выходит мало: «Когда дело дошло до финала, силы вдруг оставили меня, и тогда я сжал рукою ее горло — едва не удавил». Это уже не новая Элоиза, а Жанна д’Арк в лапах насильника-палача.

> «В ту страшную, мучительную ночь я обращался к этой твари на все лады: ласково, гневно, злобно, отчаянно, увещевая и укоряя, плакал, молил, угрожал, унижался и сыпал проклятиями. Она же целых три часа молчала и лежала как каменная, только раз переменив положение, чтобы помешать мне сделать то, чем я хоть как-то мог бы выместить обиду».

Что ж, молодчина Шарпийон, браво, аплодисменты! Так ему и надо, этому олуху, скоту, грубому мачо. Барашек из него что-то не получается, но на досаде и ярости еще можно сыграть.

Действительно, комедия продолжается.

«Сучья свора» собралась на совет. В результате Шарпийон является к Казанове домой. Она стыдит его, демонстрирует свои синяки. И говорит, что пришла мириться только по настоянию матери. Наконец предлагает соглашение: она согласна быть его любовницей, если он снимет для нее дом и возьмет на содержание. Опять слезы, возвышенные речи, Шарпийон на диво хороша и искренна. И барашек снова обольщен. Он снимает дом в Челси, и они там поселяются вместе. В постели она выказывает нежность, но вот незадача, у нее месячные. Каза отступается, ждет до утра, а там, пока она спит, устраивает проверку. Девица солгала. Новое буйство. У Шарпийон расквашен нос, «обильно льется кровь».

Вспоминаются странные кровотечения, которыми сопровождалось начало жизни Казановы, и закрадывается мысль, что кровавых историй как-то многовато. Поверхностный эссеист недолго думая написал бы «кастрация» и не стал на этом задерживаться. Усмирение мужского начала, превращение дикого зверя в смирного барашка вписывается в канон, и оно вполне благотворно, ибо предохраняет пациента от диких вспышек, вроде описанной выше, и прочих резких поступков, включая насилие и участие в организованных бойнях. Однако Казанова проявляет большую дотошность: он исследует этот красно-черный континент. И хотя дорогой ценой, но добивается полной и беспощадной ясности (ведь вся эта история — сплошной обман, каждый врет в своих интересах).

> «Следствием долгого презрения к самому себе является отчаяние, которое ведет к самоубийству».

Интрига осложняется. «Китайский шпион» Гудар предупреждает Казу, что матриархальный совет, получив свою приманку назад с разбитым носом, собирается выдвинуть против него клеветническое обвинение (может быть, в педерастии, а за подобные шалости в тогдашней Англии карали смертью).

Движимый чувством вины, Каза делает шаги навстречу. Осыпает пострадавшую подарками, выписывает векселя. Делает новое поползновение и терпит неудачу. После чего — новый визит Шарпийон. Каза рвет и мечет, он взвинчен, не может вырваться из круга.

Замкнутый круг. «Юная мерзавка» сознает свою силу, Каза смешон. Что бы ему не забыть хоть на время о своих адских муках и не поразвлечься с какой-нибудь шлюхой попроще? Нет, он и этого не может:

> «Девица была очень недурна, но говорила только по-английски. Я же привык, чтобы в любви присутствовали все чувства, и не мог предаться ей без участия слуха».

(Эротическая зона ограничена у Казы французским, итальянским и испанским — в наступающие новые времена этого недостаточно. «Эффект Шарпийон» во многом объясняется тем, что она говорила по-французски. Сегодняшний Казанова должен бы владеть ивритом, арабским и подающим надежды китайским.)

Джакомо хочет забрать назад долговые расписки[40]. Приходите и забирайте — отвечает Шарпийон. Однажды она неожиданно появляется, веселая, чертовски привлекательная, на званом обеде, садится рядом с Казой, заговаривает в шутливом тоне. Его же каждый раз, когда он ее видит, охватывает жгучее желание. Глупо, но ничего не поделаешь. Они выходят в сад, забредают в лабиринт, и тут она увлекает его на траву, «любовно подстрекает». Каза мгновенно размяк (точнее, наоборот!), но дойти до конца ему опять не дали. Потеряв голову, он выхватывает нож и грозит перерезать ей горло, если она не уступит. И слышит в ответ: «Делайте что хотите! А я потом всем расскажу». Изнасиловать женщину — какой позор! И после этой сцены Шарпийон ведет себя совершенно непринужденно, «как будто ничего не случилось». Каза потрясен: «В лице ее была такая надменность, против которой я ничего не мог».

Любовь — болезнь, все это знают, но знают недостаточно хорошо. Казанова изучает свой недуг самым тщательным образом (снова приходит на ум искатель утраченного времени с его ревностью, которая в конечном счете заменяет ему половой орган). Притом он действует с болезнью *заодно,* болеет не пассивно, а активно, словно желая дойти до предела. И вот заключительный взрыв, за которым последует депрессия и который позднее даст материал для изумительного описания маниакальной одержимости. Как-то вечером он приходит к Шарпийон и застает ее в недвусмысленной позе на диване с молоденьким цирюльником. Он избивает мальчишку, крушит тростью мебель, пинает кресла, ломает стулья. Женский клан вопит, Шарпийон убегает из дома. Появляется полиция. Все перепуганы насмерть, требуют буяна к ответу — ор, крик, истерика. Каза, разумеется, корит себя.

> «Как мог я до такой степени поглупеть? Видимо, испытывал в этом надобность».

Испытывал надобность, то есть это было не только неизбежно, но и необходимо, чтобы получше разобраться в

человеческих иллюзиях и в себе самом.

Шарпийон скитается ночью, одна, по лондонским улицам. Бедняжка, что с ней станет! Лев снова оборачивается барашком. Он справляется и узнает, что девушка вернулась утром, в ужасном состоянии после такого потрясения, ее бьет лихорадка, к тому же у нее «женская слабость» (месячные — цирюльник оказался неразборчив). Бабья стая причитает: потревожить молодую красивую девушку в дни слабости — какая низость! Шарпийон очень плохо, у нее жар, бред, судороги, она при смерти. Только чудовище способно накинуться на истекающую кровью женщину! И по крикам умирающей понятно, кто злодей: «Сейнгальт! Палач! Убийца!»

Весь этот цирк (само собой, сплошное притворство) оказывается куда действеннее, чем архаичное колдовство. Каза уверен, что совершил преступление. Шашни с цирюльником — грех, простительный молодости (а он уже старик), нечего было из-за этого поднимать скандал, а теперь по его вине ангельское создание вот-вот покинет наш земной мир. Врача сменяет священник: «Pentiti! Pentiti![41]Покайся! Злодей!»

Каза отправляется домой, его трясет, рвет, он не может есть.

Он пишет, что впал в безумие, и мы верим — так оно и было! Джакомо — идеальный подопытный кролик, лучше для такого рода экспериментов не сыщешь. В исступлении он мечется по комнате и разговаривает сам с собой. Вот что он наделал: Шарпийон при последнем издыхании, сердце его «сжимает ледяная рука». Правда, Командор за ним не явился, но это все равно. Шарпийон — невинная, святая душа, а он, Каза, — убийца, которого следует покарать. Значит, он должен сам вынести себе приговор (смертный) и сам привести его в исполнение (совершить самоубийство).

Да-да, он недостоин жизни. Он полное ничтожество, слепота и порок привели его к гибели. Зрители одобряют приговор, единодушно поднимают руку или опускают большой палец: смерть ему! Осужденный согласен.

Он пишет письма, распоряжается, чтобы его имущество отвезли в Венецию Брагадину. Берет пистолеты и решает, причем не «в порыве любви или гнева, а по холодном размышлении», пойти утопиться в Темзе. Для чего покупает в лавке свинец и раскладывает по карманам.

Свинец? Плюмбум… Почти как Пьомби, та самая знаменитая тюрьма…

> «Читатель может мне поверить: все те, кто лишили себя жизни, поступали так, дабы не поддаться безумию,

которое иначе сокрушило бы их разум, те же, кто потеряли рассудок, могли бы этого избежать, лишь расставшись с жизнью. Я решился на сию крайнюю меру, ибо день промедления сделал бы из меня сумасшедшего. Такова беспощадная логика. Человек не должен убивать себя — ведь может случиться, что бедствия его прекратятся прежде, нежели наступит безумие. Поэтому счастлив обладающий душою достаточно сильною, чтобы никогда не отчаиваться. Моей не хватило силы, и я счел за лучшее покончить с собой. Случайность спасла меня».

Странный символ веры, признающий обдуманную смерть смертельным же лекарством от безумия.

Но позицию Казановы можно сформулировать иначе: лучше умереть, чем стать бараном. И на это возразить трудно.

Случайность? Скорее судьба. Готовый броситься в воду с Вестминстерского моста и утопиться, Каза встречает вдруг знакомого — «молодого, любезного, богатого, живущего в свое удовольствие англичанина» по имени шевалье Эгард. Господин Эгард! Господи сохрани![42]

По лицу Казановы Эгард почуял неладное. Не желая оставлять приятеля одного, он затащил его поразвлечься в таверну. Казе кусок не лезет в горло, он только глотает устрицы и запивает их белым бордо. Эгард позвал девиц, но и они оставляют Казу безразличным, даже когда начинаются пикантные забавы. «Любовные утехи — не причина, а плод веселья». Один шевалье водит за собой другого по кабакам. В одном из заведений танцы. И, глядь, вальсирует Шарпийон собственной персоной!

С Казой приключается что-то вроде эпилептического припадка:

«Потрясения, которые мне довелось пережить за неполный час, заставили меня опасаться скверных последствий: я дрожал с головы до ног, так что, вздумай я встать из-за стола, вряд ли удержался бы на ногах. Со страхом ждал я конца странного приступа, который, как казалось, мог отправить меня на тот свет».

Умри и восстань. Джакомо вмиг исцелился.

«Что за чудесная перемена! Ко мне вернулись спокойствие и радость, пелена спала с моих глаз, и я устыдился; однако же стыд этот указывал на выздоровление. О, радость! Лишь выйдя из заблуждения, смог я признать его. В потемках ничего не видно! Новое

состояние было столь восхитительно, что, не найдя подле себя Эгарда, я уж решил, что он исчез навсегда. Должно быть, думал я, мой добрый гений принял обличье этого юноши, дабы вернуть мне здравый рассудок… Людям нетрудно уверовать в любой вздор. Частица этого суеверия дремлет и во мне, хоть хвалиться тут нечем».

То был еще один побег Джакомо Казановы из «свинцовой» темницы. Бывают тюрьмы в мире внешнем, а бывают — в нашем сознании. Сохранять свободу и истину в душе и теле необычайно трудно.

Каза воскрес, приободрился, настало время отомстить за себя. Он подает жалобу на Шарпийон, ее мать и обеих теток, которые обманом завладели векселями, и их арестовывают. Женский клан предпринимает контратаку: в свою очередь арестован Каза — за то, что якобы грозился изуродовать Шарпийон. Несколько часов проводит он в Ньюгейтской тюрьме, рядом с преступниками и осужденными на смерть. Все же его свидетели более достойны доверия, чем свидетели, которых представила противная сторона. Сладкая месть завершается шуткой.

Каза покупает попугая и учит его произносить: «Мисс Шарпийон — потаскуха почище, чем ее мамаша». Птица выставляется на продажу на лондонской бирже и имеет большой успех. Теперь с него довольно.

И вот мораль — о том, как мало надо доверять «свидетельствам»:

> «Ошеломляет легкость, с какою можно подрядить в Лондоне лжесвидетелей. Как-то раз я увидал табличку на окне, на которой крупными буквами написано было одно-единственное слово: „Свидетель“. Сие означало, что здесь живет человек, промышляющий подобным ремеслом».

* * *

После таких головоломных приключений и нового, еще более опасного, чем венецианский, побега Каза, естественно, нуждался в разрядке. Тут-то как раз и подвернулись пятеро сестер и их матушка, уроженки Ганновера. Джакомо наконец вкушает отдых под сенью девушек в цвету.

> «Мне представлялось, что я люблю не как любовник, а как отец, и то, что я с ними сплю, нисколько не мешало этому чувству, ибо я никогда не мог постичь, как это родитель способен нежно любить свою прелестную дочь, не переспав с нею хотя бы раз. Эта моя непонятливость всегда убеждала меня и сегодня убеждает тем более, что мой дух и моя плоть — единая субстанция. Глаза Габриели[43] говорили, что она меня любит, и я твердо знал, что она не лжет. Неужели же она не питала бы ко мне этой любви, коли обладала бы тем, что именуют добродетелью? Подобная мысль превышает мое разумение».

Если хотите, чтобы женщина любила вас, обращайтесь с нею как с дочерью. Если у вас есть дочь, обойдитесь с ней — хотя бы единожды — как с женщиной. Многим мужчинам не удается стать хорошими отцами своим дочерям — мешает неловкость, которую они ощущали когда-то в общении со своей матерью. А бывают, и нередко, дочери, которых матери ограждают от отцов (возможно, так было с Шарпийон).

Разве все это не очевидно? Нет? Очень жаль. Каза все настойчивее возвращается к этому «непостижимому» (как сам Господь) явлению, весьма хитро обыгрывая словечко «родитель». Он отлично знает, что и как говорит. Настоящая любовь, та, что зачинает и порождает, любовь-родильница и родительница, связывает отца и дочь. В конечном счете ее ребенок — это ребенок ее отца. И у каждой матери был свой отец — удалось ему отцовство или нет.

«Мой дух и моя плоть — единая субстанция» — теория единства мира в предельном выражении. Ее подтверждает философский роман, в который, если смотреть в таком ракурсе, превращается жизнь. Первое «избавление» Казы происходит на *физиологическом* уровне (от восьмилетнего слабоумия, хронических кровотечений). Второе — на *физическом* (побег из тюрьмы Пьомби). Третье — на *психическом* (после того, как он был отвергнут и намеревался покончить с собой). Четвертое же и последнее — на *духовном* (терапия письмом в больших дозах — сочинение так и не оконченной «Истории моей жизни»).

Заключение, к которому приходит Каза, весьма впечатляющее, но понятно, что принять его можно только в качестве вымысла. Религия времен матриархата (а мы сейчас находимся в его новой, технической фазе) решительно отвергает близость отца с дочерью. Ну а патриархату свойственно усиленное вытеснение отцовско-дочерних отношений,

вынужденное необходимостью: мужчины должны обмениваться женщинами во избежание эндогамии. Таким образом обществом, хоть оно того не подозревает, управляет закон мужской гомосексуальности. Однако известно: если узел несколько ослабел снаружи, значит, внутри он только туже затянулся. Как мы помним, Каза — белый маг, мастер развязывать узлы.

«Будь я богат, ганноверская семейка продержала бы меня в своих кандалах до самой смерти». Как хорошо, что он не богат. Приключения продолжаются.

Счастье отца-любовника продлилось недолго. Неугомонный Каза посещает еще и «дурное общество», где опять заражается венерической болезнью; мучимый ею, покидает Лондон — бежит от неоплаченного долга. Изнуренный, «в ужасающем виде», он добирается до Дюнкерка. Оттуда едет в Турне, где, как обычно, по чистой случайности встречает Сен-Жермена, который «работает» в тамошних краях.

Это удобная возможность сообщить об участи исчезнувшей из повествования г-жи д'Юрфе, или маркизе Серамиде. «Она отравилась, приняв чрезмерную дозу универсального эликсира», — преспокойно говорит Сен-Жермен. «Она полагала, будто беременна».

Аминь.

Сен-Жермен предлагает Казе (или, может быть — почему бы и нет, — граф де Сен-Жермен — это тоже Казанова?) вылечить его (пилюлями). Тот отказывается (из предосторожности). Алхимик знакомит его со своими достижениями.

> «Он показал мне архей, каковой именовал он атоэфиром. То была белая жидкость в маленькой колбе, похожей на все прочие. Они были запечатаны воском. Услыхав, что сие не что иное, как универсальное природное начало, и доказательством тому то, что оно мгновенно испарится из колбы, если проделать наималейшее отверстие в воске, я просил показать мне сие на опыте. Тогда он дал мне колбу и булавку, сказав, чтобы я удостоверился сам. Я проколол воск, и колба в тот же миг опустела»*.

Удивленный Каза спрашивает, на что нужно это вещество. Сен-Жермен отвечает, что не может этого открыть. Затем он берет у гостя монетку в двенадцать су и делает ее золотой. Каза уверен, что это просто ловкость рук (одна монета незаметно подменена другой), но лишь замечает Сен-Жермену, что он напрасно не предупредил его о трансмутации заранее.

«Он отвечал, что те, кто сомневается в его искусстве, недостойны беседовать с ним. То была обыкновенная его манера. Такова последняя моя встреча со знаменитым и ученым обманщиком, что умер в Шлезвиге тому шесть или семь лет»*.

(Значит, Казанова пишет эти строки в 1790 или 1791 году.)

Испаряется и время, универсальное природное начало. 15 апреля 1764 года скончалась другая маркиза, незабвенная г-жа де Помпадур.

Лечиться от «паховой чумы» пришлось основательно. Целый месяц Каза не встает с постели и томится скукой. В результате он выздоровел, но сильно исхудал.

* * *

Читатель должен понять: отныне он имеет дело с другим Казановой, Казанова трансмутировал.

Он странствует по миру.

В Брауншвейге он посещает знаменитую библиотеку, где трудились Лейбниц и Лессинг.

«Я провел неделю, выходя оттуда единственно затем, чтобы пойти в комнату, а выходил из комнаты единственно, чтобы туда воротиться. Я вновь свиделся с библиотекарем лишь на восьмой день, дабы за час до отъезда поблагодарить его. Жил я в совершеннейшем покое, не помышляя ни о прошлом, ни о будущем, труды помогали забыть, что существует настоящее. Нынче я вижу — чтобы жить в миру как истинному мудрецу, мне довольно было стечения малозначительных обстоятельств, ибо добродетель всегда притягивала меня более, нежели порок»*.

(Это пишет библиотекарь графа Вальдштейна из Дукса, ныне Духцова.)

В Берлине он снова встречает Кальзабиджи, бывшего своего компаньона по устройству лотереи в Париже, который теперь морочит голову подобной затеей Фридриху Прусскому. Король дал аудиенцию Казе в Сан-Суси. Сначала он принял шевалье де Сейнгальта за «архитектора-гидравлика», поскольку тот высказал кое-какие соображения по поводу водяного оснащения садов Сан-Суси и сравнил их с версальскими; потом в продолжение всей беседы перескакивал с одного предмета на другой и под конец

оглядел собеседника с головы до ног и изрек: «А вы красивый мужчина».

Спасибо и на том.

Раз в Берлине ничего не светит, отправимся в Санкт-Петербург. В России Каза покупает молодую крестьянку (ай-ай-ай!) и берет ее в услужение. Он зовет ее Заирой. Она страшно ревнива и однажды чуть не убила его, запустив бутылкой в голову. Как-то раз Каза поддался чарам молодого, «красивого, как девушка», русского офицера. Его мучит геморрой. Он всюду встречает восторженное отношение к Вольтеру. Видит наконец императрицу Екатерину II в Летнем саду, где расставлены статуи одна другой забавнее. Он ведет с нею ученую беседу о григорианском календаре, который России не худо бы перенять. Что точно он запродает царице? Неизвестно. Как бы то ни было, он предпочитает ее Фридриху Прусскому.

Ничего особенного. Каза скучает, записывает все подряд. Вдруг мелькают рассуждения о внезапной смерти и ее последствиях в мире ином, но это так, между прочим. Единственный луч света в этом восточном прозябании — французская актриса, некая Вальвиль, сыгравшая всего только раз в «Любовных безумствах» Реньяра. Больше ее на сцену не пускали, она хотела уехать, и ей нужен был паспорт. Каза улаживает это дело и уезжает с нею вместе в *дормезе* (карете, где они спят, как в постели). Француженки *удобны:*

> «Без страстей, без темперамента и потому любить не способны. Они умеют угождать и действуют по раз заведенному порядку Мастерицы своего дела, они с одинаковой легкостью, шутя, заводят и порывают связи. И это не легкомыслие, а жизненный принцип. Если он не наилучший, то, по меньшей мере, самый удобный»*.

Может, Каза и выдумал эту поездку. Но невеселое замечание путешественника о том, что для француженок главное, чтобы их *содержали,* — справедливо и прозорливо.

Великолепный и непредсказуемый Казанова! Только подумаешь, что он разменивается на мелкие анекдотцы, а он вдруг как ни в чем не бывало выложит крупную карту, ввернет в свой рассказ какое-нибудь письмо или документ первостепенной важности.

Место и время действия — Аугсбург, май 1767 года. Место и время написания — Дукс, 1 января 1798 года (то есть за полгода до кончины). Семидесятитрехлетний Казанова рассказывает о себе сорокадвухлетнем.

В 1767 году он находится в стесненных обстоятельствах. И

пишет герцогу Карлу Курляндскому, который в ту пору находился в Венеции, письмо с просьбой прислать ему сотню дукатов: «Дабы одолжить его и тем вернее побудить прислать мне деньги, я приложил описание верного способа изготовить философский камень».

На страницах этого *философского* (читай — алхимического) романа это выглядит совершенно естественно.

Упомянутый герцог Курляндский — не абы кто. Авантюрист, мошенник и, если верить полиции, одного поля ягода со знаменитым Картушем[44]. В его арсенале сотни разных плутней. К примеру, такая:

> «Означенный герцог Курляндский был научен неким итальянцем по имени Казенов составлять чернила, бесследно исчезающие с бумаги, так что и вообразить невозможно, будто что-нибудь было на ней написано».

Невидимые чернила — это уж точно Каза.

Цитирую «Подлинные исторические мемуары о Бастилии», опубликованные в 1789 году. Тут приведено письмо Казы герцогу с алхимическими рекомендациями. Вот как оно сюда попало:

> «Поскольку письмо мое, содержавшее великую тайну, не было зашифровано, я посоветовал ему сжечь его и заверил, что у меня имеется копия; он же не послушал, письмо сохранил, и оно было изъято у него в Париже вместе с другими бумагами, когда его заточили в Бастилию».

Предавать гласности это письмо никто не собирался. Но через двадцать лет после ареста герцога Курляндского, то есть в 1789 году, «парижский народ, склоненный к мятежу герцогом Орлеанским» (любопытное замечание), разрушил Бастилию, завладел архивом и обнародовал письмо Казы «наряду с прочими вещами», переведенными впоследствии на немецкий и английский.

«Невежды, кои населяют страну, где я ныне живу *(Богемию),* и ко мне относятся с понятною враждебностию, ибо осел никак не может подружиться с конем, возликовали, прочтя сие якобы уличающее меня послание… Богемские скоты, ставившие мне его в укор, немало удивились, когда я ответил, что сие письмо покрывает меня вечной славой и что, не будь они ослами, они должны бы прийти от него в восхищение».

Конь? По-латыни «кабаллус» — здесь слышится и «кавалер», и «каббала».

И Каза недрогнувшим пером переписывает свое письмо. Классический алхимический рецепт получения золота. Каза — дитя Солнца, а не свинцового Сатурна. Удивительно, почему алхимики, владевшие, по их словам, искусством трансмутаций, эти философы, «чей лоб морщины бороздят»[45] (как сказано в сонете Рембо «Гласные»), умирали нищими. Быть может, отчасти это объясняется тем, что их выслеживали, преследовали, нередко тайно казнили. Вся эта наука — обман и морок, неустанно твердит Каза, но только не восторженным ослам. Кто, как не мошенник, был герцог Курляндский, к которому обращены нижеследующие строки:

> «Оное действо требует моего присутствия для надзора за сооружением печи и точнейшим исполнением операции, ибо самая малая оплошность способна все загубить… Прошу вас о единственной милости: повременить с совершением операции до той поры, покуда мы не сойдемся вместе. Работать в одиночку вы не сможете, не сможете и положиться на кого бы то ни было, поскольку в случае успеха помощник ваш выдаст вашу тайну… Я уже производил превращение веществ для маркизы де Пон Карре д'Юрфе… Состояние мое в смысле богатства было бы ныне весьма велико, когда б я мог довериться государю, наделенному властью чеканить собственную монету. Лишь сегодня выпадает мне такое счастие…»

Следуют технические указания по производству фальшиво-подлинных золотых монет. Вот она, настоящая «государственная тайна», если только это не насмешка шарлатана. Каза не признаётся (хотя в других случаях охотно это делает). К тому же он проговаривается: значит, это он «работал» в лаборатории г-жи д'Юрфе? Но над чем же?

Каза просит Карла предоставить ему, помимо руководства работами, «часть конечного продукта, какую Вашему Высочеству будет благоугодно уделить мне, с тем чтобы наладить чеканку в потаенном месте, по моему указанию. Помните, монсеньор, что это должно остаться государственной тайной. Ваше высочество поймет чрезвычайную важность сих слов».

Карл Курляндский умер в 1801 году, в Пруссии, при довольно заурядных обстоятельствах. До того времени он подолгу бывал в Польше и России. Неминуемо возникает вопрос: почему, несмотря на то, что против него был выдвинут целый ряд серьезных обвинений, его выпустили на свободу 24 апреля 1768 года под залог пятидесяти тысяч франков, внесенный Виленским

епископом? И почему шевалье де Сейнгальт, вместо того чтобы представить свое письмо как сумасбродную выходку, старательно переписывает и вставляет его в «Историю моей жизни», которую даже не надеется когда-либо опубликовать? Что это, дерзкий вызов? Серьезное отношение? Желание подразнить «ослов»? Или все это вместе?

Каза направляется в Париж. Проезжая через Спа, заглядывается на дочь хозяина постоялого двора, которая носит прекрасное имя, достойное того, чтобы ввести его в моду: Мерси. Девушка спит в комнате по соседству с Казой. Он решает попытать счастья, подступается к ней с ласками и получает кулаком в нос. Стареет наш герой, стареет. Расквашенный нос кровоточит.

В Париже ему неловко, не по себе, он ничего или почти не узнаёт.

> «Париж показался мне неведомым миром. Г-жа д'Юрфе скончалась, мои прежние знакомые переменили место жительства, или у них переменились обстоятельства. Богачи сделались бедняками, бедняки — богачами, девки понабрались все новые, те, которых знавал я ране, теперь подвизались в провинции, где все парижское почитается несравненным и превозносится до небес».

На самом деле г-жа д'Юрфе еще жива, но для Казановы ее больше нет. Он снова встречает г-жу де Рюмен, которой когда-то вернул голос. Происходит несчастная история с семнадцатилетней Шарлоттой, которая погибла в родах. Каза тут ни при чем, но, кажется, впервые он проявляет милосердие, бескорыстность, не жалеет времени на доброе дело. А тут еще на родине, в Венеции, умирает Брагадин, самый верный друг. Он оставляет приемному сыну тысячу экю, но как все это грустно! Каза начинает свыкаться с мыслью, что он уже не молод. Относительно покойная жизнь длится недолго — королевский указ изгоняет его из страны. «Ибо так нам благоугодно», — выражались августейшие особы того времени.

Путь изгнанника лежит через Орлеан, Пуатье, Ангулем в Испанию.

> «Я прибыл в Бордо и пробыл там неделю. Это первый после Парижа город на всю Францию».

Эту фразу вспомнит позднее Стендаль.

Памплона, затем Мадрид.

Его поражает язык. В нем столько «а». Совсем как в имени Казанова.

«Один из красивейших языков в целом мире, звучный, энергический, величавый». Конечно, испанский — не итальянский, но почти так же хорош.

Здесь Каза зовется Хайме (по-испански то же, что Жак). С одной стороны инквизиция, с другой — женщины (ничто не ново под луной, меняется только цвет одежды инквизиторов).

> «Женщины пылки, хороши собой и готовы на любые плутни, дабы обмануть бдительность особ, приставленных следить за всяким их помышлением».

В Мадриде Казу весьма любезно принимает помощник венецианского посланника. Мир тесен — это сын того Мануцци, что когда-то выдал Джакомо инквизиции, засадившей его в Пьомби. Он из обоймы миньонов, иначе говоря, играет при посланнике роль «антифизической возлюбленной» (или, может быть, противоположную). Скользкая область, требующая массы предосторожностей, тем более что кругом процветает ханжество и благочестивое доносительство.

> «Что бы ни делали испанцы, они никогда не забывают о религии, выказывая о ней неукоснительную заботу. Нет такой куртизанки, которая бы, сгорая от вожделения наедине с любовником, решилась отдаться ему прежде, чем прикроет носовым платком распятие и повернет лицом к стене картину с изображением святого. Стань же кто потешаться таким обычаем, сочтя его нелепым и суеверным, он прослывет безбожником, и та же куртизанка поспешит донести на него».

Так обстоят дела, но это не помеха веселым шашням. Казанова с головой ушел в стихию фанданго.

> «Описать сие не в моих силах. Мужчина и женщина плясали, сойдясь лицом к лицу и держа меж пальцев кастаньеты, которыми пристукивали на каждом третьем па; движения танцоров были исполнены гармонии и сладострастия. Мужчина выказывал радость утоленной страсти, женщина — покорство, восторг и любовное упоение. Казалось, сплясав фанданго, ни одна ни в чем не могла бы отказать своему кавалеру. Только лишь глядя на танцующих, я вскрикивал от наслаждения».

Дон Хайме Казанова увлекся цыганщиной. Он схватывает на лету.

> «В три дня я так навострился в этом танце, что, по признанию самих испанцев, никто в Мадриде не взялся бы сплясать его лучше меня».

И дальше в том же духе. Как-то раз Каза заглянул в церковь Соледад, увидел там красивую девушку, увязался за нею следом (она жила на улице Десенганьо, то есть «разочарование»), вошел в дом, представился и, сославшись на свое положение — он дворянин-иностранец, не знает никого в городе, — пригласил девушку на бал. Требуется согласие семейства. Что ж, раз добыча сама идет в сети, отчего бы не поживиться? Милости просим.

Казанова забавляется. Красотку зовут Игнасия, и у ее кровати конечно же красуется портрет Игнатия Лойолы, «молодого, пригожего, физически привлекательного мужчины». Вот повод изъявить почтение иезуитам в приличном случаю дерзком тоне. Каза начинает кампанию с обычных обходных маневров, применяет классическую тактику обольщения невинных кузин, шуточных переодеваний, игр в духе Гойи периода расцвета. Он устраивает комнатную корриду, с пассами, речами на разные лады, балетом атак и отступлений.

> «Вот что можно сказать с полной уверенностью: набожная женщина, входя в плотское сношение с возлюбленным, извлекает стократ больше удовольствия, чем та, что лишена подобного предрассудка. Сия истина слишком согласуется с естеством, потому не вижу надобности доказывать ее читателю».

Напротив, *докажите* нам! И заодно скажите, нет ли в борьбе против набожности скрытого желания помешать женщинам получать уж слишком много удовольствия? Либертин попадает в двойственное положение: с одной стороны, он должен побороть суеверия, сковывающие естественные желания, но с другой — не может допустить, чтобы желания выдохлись; для него одинаково губительны клерикализм и антиклерикализм, невежество и лжеученость, монашеский и технический подход, стыдливость и порнография. Где пролегает грань между святошеством и наслаждением, между эротикой и половым бессилием? Все решает вкус, все дело в том, как подать.

Каза не случайно вкрапляет в текст отступления о танце и живописи. Например, пишет о прекрасной картине в одной из мадридских церквей, где изображена Мадонна с младенцем.

Обнаженная грудь Святой Девы возбуждает чувственность. Верующие валят валом, церкви достается много денег. Но в один прекрасный день — полное безлюдье. Каза из любопытства заходит и видит, что на груди Мадонны нарисован платочек — так распорядился новый настоятель («Чтоб я этой голой груди больше не видел, прикройте ее!»). Святому отцу тридцать лет, он категоричен:

> «Провались пропадом все прекрасные картины, если они могут хоть на шаг подтолкнуть человека к смертному греху».

«В Венеции, — говорит ему Каза, — вас живо посадили бы в Пьомби за такое преступление (и правда, это преступление)». — «Я не мог служить мессу, — отвечал молодой священник, — красивая грудь вводила меня в соблазн».

Что и требовалось доказать. Фантазию священника дразнила не картина Рафаэля или Тициана, а обыкновенная порнооткрытка. В наше время порнография — такой же товар, как любой другой. В Нью-Йорке сплошь и рядом аскетический лютеранский храм соседствует с секс-шопом. А что такого? Да ничего, нормально. В «орально-генитальных» сношениях и «секса»-то, считай, никакого нет. Так что современная девушка запросто может оказывать подобные услуги и одновременно вязать или читать любовный роман. Это в духе времени, такая теперь набожность.

Игнасия боится умереть во сне, не покаявшись в смертном грехе. В ее глазах это ужасно. Но однажды ей приходится выбирать между Казой и духовником. Духовник не дает отпущения? Что ж, она выбирает Казу. И никакого психоаналитика, никаких неврозов.

Пародийная противоположность неприступной святоши — *андроманка.* Как герцогиня Вильядариас:

> «Она захватывала мужчину, который будил в ней похоть, и вынуждала его себя ублажать. Такое не единожды случалось посреди людных сборищ и многих обращало в бегство».

Что же, женская матка — это «неукротимый, неразумный, дикий зверь… хищное нутро»? *Tola mulier in utero*[46], как говорили богословы? И этим объясняется существование святых жен и распутниц? Не более, чем святых мужей и сексуально одержимых — неконтролируемым поведением пениса, фаллическими осечками. Казанова написал и опубликовал при жизни забавную

брошюрку на эту тему «Бестолочь. Послание одного ликантропа»[47] (на итальянском). В «Истории моей жизни» он вроде бы вполне серьезно задается вопросом, хотел бы он или нет быть женщиной.

И однозначно отвечает: нет, из-за риска забеременеть. Но заново родиться женщиной — пожалуй, да.

> «Тиресий[48], побывавший женщиной, вынес верное, но смехотворное суждение — как будто можно на одних весах измерить сии два вида наслаждения».

Тиресий признал, что женщина наслаждается больше, но на одних весах измерять то, что испытывают в этом случае мужчина и женщина, нельзя. Почему же вещь столь очевидная не принимается во внимание? Все из-за страсти к цифрам.

В Мадриде Каза угодил в тюрьму Буэн-Ретиро, где кишели вши, блохи и клопы. Ночами он лежал на лавке и снова терзался страхом сойти с ума. К счастью, помогло заступничество энциклопедистов (д'Аранды и Кампоманеса) — как раз в то время из страны изгоняли иезуитов. Приходится обороняться и инквизиторам, «чье главнейшее достижение есть невежество, в котором они держат христианский мир». Но испанский король Карл III богобоязнен. Так же, как Людовик XIV, который в свое время «слишком уж любил многоречивые исповеди». Словом, Казу скоро выпустили. Он посещает Толедо, Аранхуэс, читает «шедевр Сервантеса», этот «превосходный роман». Размышляет о Фортуне. Слепая богиня? О нет.

> «Сдается мне, что она того лишь ради пожелала явить полную свою надо мною власть, дабы внушить мне, что она умеет мыслить, и показать себя госпожою всего; стремясь меня в том убедить, она прибегала к средствам самым не вероятным, силой понуждая меня к действию и заставляя уразуметь, что воля моя отнюдь не свободна, а только служит инструментом, при помощи которого она, Фортуна, делает со мною все, чего ни пожелает».

Каза в сомнении. Все предопределено, но человек свободен. Фортуна (Бог, Провидение, Рок, Судьба, Нужда и т. д.) всевластна — это так и, однако же, не так. Он то хворает — простуда, лихорадка, дурная болезнь, геморрой, — то пребывает на верху блаженства. И, несмотря ни на что, твердит нам, что его ведет некая разумная сила. Свобода и истина («единственный бог, которому я поклоняюсь»), возможно, не имеют отношения к

человеческой *воле*. Не я определяю, что мне суждено, не от меня зависит благодать или немилость. *Sum, quia sentio.* Я существую, ибо чувствую. Если бы мне предстояло заново родиться, говорил Каза, я бы хотел сохранить память о том, что было прежде, иначе я уже не буду собой. Стало быть, он дорог сам себе. Нам, читающим, тоже. Его выбор — вечное возвращение, и он его осуществляет смело и прилежно. Быть «инструментом» Фортуны — это ли не лучшая музыка? Надо суметь верно записать ее, а это особый дар. Вспомним: алхимия — «музыкальное искусство».

* * *

Каза позволил себе слишком дерзко отозваться об отношениях Мануцци и посланника Венеции. И получил удар ниже пояса. Он должен бежать без промедления. За ним гонятся убийцы, ему удается ускользнуть от них. Он едет в Сарагосу, потом в Валенсию.

Нашу Лолу из Валенсии зовут Ниной[49]. Она любовница генерал-капитана Барселоны (поэтому нашему странствующему озорнику придется туго). Каза проводит с ней несколько бурных ночей. Нина — жуткое существо:

> «Передо мной была женщина, прекрасная, как ангел, и ужасная, как дьявол, непотребная шлюха, рожденная на свет, чтобы наказывать всех, кто, на свою беду, воспылает к ней страстью. Знавал я и прежде особ, похожих на нее, но все они не шли с нею ни в какое сравнение».

Она зазывает его в Барселону и возбуждает ревность своего официального любовника, для Казы это выльется в новое покушение. В конце концов его хватают и опять бросают в тюрьму.

Он просит бумагу и чернила и за сорок дней пишет опровержение «Истории Венецианского государства» Амело де ла Уссе. Расчет его ясен: вернуть себе милость правительства Светлейшей республики и вернуться на родину, в единственное место на свете, где можно сносно существовать.

Прощай, Испания. Через Перпиньян, Безье, Монпелье Каза следует в Экс-ан-Прованс, где живет маркиз д'Аржанс[50]. Интимное признание: Каза чувствует, что «время подвигов прошло». Он жестоко заболевает — воспалением легких, харкает кровью. Его выхаживает незнакомая женщина, приставленная к нему верной Генриеттой. В Эксе он, скорее всего, встречает, но не

узнает Генриетту. Она располнела. И по-прежнему не хочет увидеться с ним. Быть может, время для спокойной беседы еще когда-нибудь настанет.

> «Таковы лучшие минуты моей жизни. Эти счастливые, нежданные и нечаянные встречи, которыми обязан я чистой случайности и которые оттого еще мне дороже».

Еще одно откровенное признание:

> «По мере того как входил я в преклонные лета, страсть моя к женщинам все более обретала головной характер. Рассудок служил проводником, необходимым для того, чтобы притупившиеся чувства пришли в движение».

Судьба сводит Казанову с Бальзамо (Калиостро), который путешествует одетый паломником, вместе с женой. Бальзамо остается в его памяти как мастер копировать рисунки и особенно чужой почерк. Увядающий Каза завязывает сентиментальный роман с англичанкой мисс Бетти. Он вполне способен и на такой литературный жанр. Но бдительная Фортуна рассудила иначе.

* * *

Подобно наконец достигшему родины Одиссею, Казанова вернулся в Италию, но пока не в свой город. Все вокруг радует душу, родная речь ласкает слух, и плоть наливается новыми силами. Как мы вскоре увидим, Дон Жуан вольготнее чувствует себя там, где зовется Дон Джованни. И хоть наш дон Джакомо не молод, он еще не насытился счастьем. Его влечет на юг, в *свои* края: в Неаполь, Сорренто. Пленяет женский аромат? Скорее взгляд.

> «Черные глаза ее так сияли, что помимо ее воли зажигали страсть в каждом, кто смотрел в них, и красноречиво сулили такое, о чем она не намеревалась заговаривать».

Звали ее Каллименой. Каза уверен, что по-гречески это имя означает «неистовая красота» (этимологически вполне допустимо) или даже «прекрасная луна» (почему бы и нет). Он воспламеняется. Красотке четырнадцать лет, но выглядит она на восемнадцать — самое время для первого опыта. Она играет на клавесине. Сопротивление ее быстро иссякает.

> «Тогда в Сорренто мне последний раз в жизни довелось испытать подлинное блаженство… Настало время, когда Каллимена вознаградила мой пыл после двухдневной борьбы противу самой себя. На третий день в пять часов утра, пред светлым ликом восходящего над горизонтом Аполлона мы, сидя на траве друг возле друга, уступили своим желаниям. В Каллимене говорила не корысть и не благодарность, ибо она не получала от меня ничего, кроме каких-то безделиц, а одна лишь любовь; она отдалась мне, сожалея об одном — что так долго медлила, прежде чем меня осчастливить. До полудня мы успели троекратно принести жертву любви, каждый раз меняя алтарь; а затем до самого вечера бродили повсюду, прерывая прогулку всякий раз, когда возгоралась в нас хоть малейшая искра, а вместе с нею желание тут же ее погасить».

Приведенный пассаж — пример цветистого стиля, к которому Каза прибегал в торжественных случаях. Аполлон, третий день, пять часов утра, троекратная смена «алтаря» — настоящий

магический ритуал. Каза уже несколько отвык от того, чтобы ему отдавались даром. Девушка носит греческое имя. Зачем-то приплетен Аполлон — законченная идиллия, Каза отвешивает себе порцию земного рая. На память приходит знаменитое незаконченное полотно престарелого Пуссена «Аполлон и Дафна». Очень скоро Каза возьмется переводить «Илиаду». Ариосто, Гомер — высокое общество. Но как не почувствовать, что он усматривает в происходящем эпизод своей собственной одиссеи? Фортуна, посылая то благоприятный, то противный ветер, направляет сухопутное плавание героя среди смертных, он же, несгибаемый, «хитроумный», мечтает вернуться домой, на Итаку, в Венецию. Боги наблюдают за ним. У Гомера бодрость духа поддерживает в Одиссее Афина. А нашему герою в его подвигах на травяном ложе с юной черноглазой музыканткой, с которой он сумел *по ладить,* помогает Аполлон. Между любовниками *лад*: это не выразить словами, так захотела природа, и надо не упустить миг удачи.

Скорее, ведь счастье в игре переменчиво, банк в фараоне быстро разлетается. А впереди еще дуэль. Все же Неаполь — место, где Казе всегда везло. Глядя из окна замка в Дуксе на грязный двор, он пишет:

> «Все четыре раза, что я живал в Неаполе, судьба была ко мне благосклонна. Явись я туда ныне — околею от голода. Фортуна не жалует старцев».

Не жалует старых лицедеев — да, но к старцу с пером в руках это не относится, его со временем ждут лавры Аполлона.

Среди многих побывавших в Неаполе путешественников (таких, как, например, Виван Денон) есть еще один, вкусивший там величайшее счастье — это маркиз де Сад, который посетил город в 1776 году (Казанова к тому времени уже вернулся в Венецию). Чтобы убедиться в этом, достаточно открыть его шедевр — «Жюльетту». Де Сад — вулкан, Казанова — зеленый парк. Де Сад с легкостью крушит человеческий род, Казанова его просвещает. Ночь сияет, как солнце. И свет и мрак — антиподы серого обскурантизма. Высказывание про сияющую ночь принадлежит, конечно, Ницше. Эта высшая истина всегда шокирует церковников всех мастей.

Не станем приводить доводы тех, кто противопоставляет Неаполь Венеции *(Против Венеции* — так и вижу ухмылку Казы). Диапазон суждений весьма широк: от самых резких до самых тонких. Оба города портовые — добро пожаловать под любыми флагами!

(Вспоминаю разговор с Франсуа Миттераном на одном

приеме в 1988 году. Его тогда переизбрали на второй президентский срок. Во Франции ему все наскучило, и он на старости лет открыл для себя Венецию. Сказав, что рад познакомиться с «ужасным господином Соллерсом» (смех сидящих поблизости), он сразу же заговорил о том, что как раз читает Казанову (мне бы спросить, в каком издании). Мы сидели рядом на диване, и он, отечески похлопав меня по ляжке, шепнул мне на ухо: «Смотрите, берегите здоровье!» (Я уж думал, он сейчас сунет мне пачку презервативов.) Бывший тут же Октавио Пас скривился и принялся кислым тоном ругать Казу: «Ему не хватает глубины, трагизма…» и т. д.

Миттеран раздраженно перебил его: «Вы полагаете? По-вашему, умение воспроизвести сиюминутное, кипучая жизненная энергия ничего не стоят? А вы что скажете, господин Соллерс?» Я встал на сторону президента — он говорил очевидные вещи. Он уже был серьезно болен, его все утомляло, надоели сумбурные беседы с Маргерит Дюрас, его, как мошку на свет, влекло к светлой Венеции. Мазарине, его дочери, о которой еще мало кто знал, Антигоне его старости, в то время было лет четырнадцать.)

Неаполь Каза взял на рассвете, со стороны Сорренто.

Ну а Салерно — ночная опера.

Там, в Салерно, живут его давняя любовь Лукреция и их общая дочь Леонильда. Леонильде было шестнадцать лет, когда она наблюдала, как «влаготочит» отец; теперь ей двадцать пять, она «ослепительно хороша» и носит титул маркизы, ибо вышла за семидесятилетнего маркиза де ла К., богатого, но страдающего подагрой.

> «Семидесятилетний вельможа, удостоившийся прозрения, тридцать лет тому назад был редкой птицей в сицилийском королевстве».

Иначе говоря, маркиз — франкмасон. Они с Казановой обнимаются.

> «Мы сели бок о бок и еще раз ознаменовали объятиями свое божественное единение к немалому изумлению обеих дам: они не могли взять в толк, каким образом могло состояться наше знакомство. Донна Леонильда порадовалась тому, что муж ее давно меня знает, о чем она ему сказала, присовокупив поцелуй; почтенный же старец едва не надорвался от смеха. Донна Лукреция, та заподозрила истину, дочь же ее осталась в недоумении и отложила разгадку до другого времени».

Каза и маркиз — братья по «божественному единению». К этому братству прибавляется и земное приятельство. Казанова ни в чем себе не отказывает.

Маркиз де ла К. — человек просвещенный, он много путешествовал, много повидал на своем веку. Женился он в надежде обзавестись наследником. Он еще способен производить необходимые для этого действия со своей супругой (Леонильдой), но ввиду слабого здоровья не уверен, что они увенчаются успехом. Жену он любил в особенности за «ясный ум», такой же, каким обладал сам, хотя старался этого не обнаруживать:

> «В Салерно, где никто не блистал умом, жил он с женой и тещей как добрый христианин, разделяя все предрассудки своих соотечественников».

Угадает ли современный, свободный от всяких «комплексов» читатель, что было дальше? Вряд ли.

Дальше много говорится о неком «векселе с отсрочкой на девять месяцев», плату по которому должна обеспечить Леонильда. Каза выступил в роли племенного жеребца, оплодотворив собственную дочь и получив за это вознаграждение. Оставалось пожелать Леонильде и маркизу «хорошенького мальчугана по прошествии девяти месяцев».

Чтобы понять, что произошло, нужно внимательно читать — ничего не сказано прямо, как я только что изложил. Этот эпизод «Истории моей жизни» написан виртуозно. Каза не говорит: «Я сделал ребенка своей дочери, чтобы он стал наследником маркиза». Поначалу можно думать, что маркиз не знает о том, что Леонильда дочь Джакомо, тогда как ему это отлично известно (к вящему удивлению Казы, тот сам ему на это намекнет, отдавая деньги).

Приличия соблюдены (все совершается в загородном доме), маркиз в ту ночь «посещает супругу». Однако «сделка» была заключена заранее.

Джакомо, Лукреция и Леонильда укрылись в садовой беседке. Они вспоминают ночь, которую провели вместе девять лет тому назад. Лукреция тактично оставляет отца и дочь наедине, предостерегая их от «преступных поступков».

> «Это напутствие, высказанное напоследок, возымело действие, прямо противоположное его смыслу. Упоминание о пресловутом „преступлении“, которого мы не должны совершать, сделало его столь явственно ощутимым, что самое малое, почти невольное поползновение увлекло нас так далеко, как мы не могли

> бы зайти, когда бы поступали по осознанному умыслу и свободной воле. Мы замерли на месте, глядя друг на друга в безмолвном раздумье, удивленные, как после обоюдно признались, тем, что не ощущаем вины и не испытываем угрызений совести. Тогда мы приникли друг к другу, а затем сели рядом, и в один голос дочь моя назвала меня супругом, а я ее — супругой. Свершившееся между нами мы подкрепили нежными поцелуями, и явись в тот миг пред нами ангел Божий, обличающий нас в чудовищном поругании естества, мы бы лишь посмеялись. Целомудрие донны Лукреции, заставшей нас безмятежно предающимися этим вполне благопристойным ласкам, ничуть не было задето».

Интрига осложнена причудливыми поворотами, вроде истории с Анастасией, служанкой Леонильды, за которой Каза когда-то приволакивался: она попыталась «перехватить» отца-жеребца и перевести вексель на себя.

В конечном счете все соучастники невиннейшего преступления остались довольны. Каза получил пять тысяч дукатов, его проводили с почетом, расставание было орошено слезами.

Представьте-ка себе, как спустя много лет молодой маркиз рассказывает какой-нибудь своей любовнице: «Я сын дочери моего отца, которым на самом деле был Казанова».

Сын дочери моего отца — эта формулировка до странности напоминает богословское определение (приведенное Данте): «Я Дева Мать, дочь Своего же Сына»[51]. Вот она, сердцевина прекрасной розы инцеста. Пролетает тихий ангел.

Дон Джакомо меж тем направляется в Рим. И приводит нас к герцогине де Фьяно, покладистой, некрасивой и, к сожалению, небогатой.

> «Умом она не блистала, но желала прослыть остроумной, а потому усвоила привычку насмешливо злословить».

Муж у нее импотент, babilano, babilan (позднее Стендаль подхватил это словечко для обозначения указанной слабости).

Однако главная римская новость той поры — гонения на иезуитов. Уступив давлению со стороны европейских монархов, папа Климент XIV (Ганганелли) велел распустить орден. Казе в это время нужно работать в библиотеке. Ватиканские иезуиты приняли его с распростертыми объятиями.

> «Иезуиты всегда выделялись среди других светских христианских орденов своею учтивостью, и даже, осмелюсь сказать, одни они ею и обладали. Когда же они очутились в критическом положении, сия учтивость показалась мне граничащей с раболепством».

Это не помешало Казанове уверенно обвинять иезуитов в том, что они из мести отравили Климента XIV: «Это было последнее, посмертное доказательство их могущества». Надо заметить, что дон Джакомо каждый раз, когда дело касается иезуитов, как бы ненароком отходит в тень. Старая, с середины XVIII века занимающая умы во Франции, Португалии, Испании, Италии история. Иезуитский заговор, масонский заговор? Конечно, нет дыма без огня, но тут дыма намного больше, чем пламени. В этой связи не может не возникнуть фигура кардинала де Берниса.

У Берниса, который все это время переписывается с М.М. (по-прежнему венецианской монахиней), есть «постоянная любовница» — принцесса де Санта Кроче, «молодая, пригожая, веселая, живая, пытливая, смешливая, говорливая, сыплет вопросами и не имеет терпения дослушать ответы».

> «Эта молоденькая женщина виделась мне настоящей игрушкой, созданной для развлечения ума и сердца любвеобильного и мудрого мужа, занятого великими делами и нуждавшегося в отдохновении».

Бернис встречается с принцессой по три раза на дню. Оба они становятся сообщниками Казы в Риме.

Не для того ли, чтобы потешить своих друзей, дон Джакомо скоропалительно затевает новое приключение в стенах монастыря, точнее, приюта, где воспитываются девицы из бедных семей? Его избранница — Армелина, чьи «печаль и бледность имели, вернее всего, причиной бремя заглушенных желаний».

В ход идут сговор с настоятельницей, веские доводы, стимулирующие ее благосклонность, в виде подношений кофе, сахара, теплой одежды. Меж тем «перезрелые святоши» возмущаются. Раскрепощение девиц входит в просветительский проект, поэтому Бернис с принцессой охотно помогают Казе. Но почему-то эта история кажется приевшейся и скучной. Армелина отлично усваивает науку, а Каза не чувствует в себе призвания «мученика добродетели». Однако же приходится войти в роль. Разумеется, он прибегает к излюбленной тактике: ужины с подружкой Армелины, шампанское, устрицы, будто бы невинные забавы, наряды, переодевания — разные милые глупости, но иной раз можно позволить себе приятную вольность, например, взять

губами устрицу прямо с открытой груди:

> «Увидев, что я обомлел и глаз не свожу с ее груди, она спросила, не хочется ли мне, как младенцу, приложиться к соску».

Старый младенец, молодые сосцы. Дева с порочным младенцем. У Казы разыгралось воображение: он признается, что хочет сосать, как ребенок, грудь матери, которая приходится ему дочерью. Ладно. Но продвинуться дальше ему на этот раз никак не удается. Жмурки, баловство, игривые прикосновения, шалости и ничего существенного. Девицы заботятся о замужестве, Казу подпускают только с тыла. Их можно понять — остальное лучше приберечь. Нужно хорошо пристроиться. Каза — партия незавидная, на горизонте маячат претенденты помоложе. Что ж, прощайте и будьте счастливы.

Дон Джакомо замыкается «в кругу семьи». Вот, пожалуйста, еще одна из его вероятных дочерей — Джакомина (тем временем Леонильда родила сына — браво!), дочь Мариуччи, она еще красивей, чем оставшаяся в Лондоне София. Как летит время! А тут еще объявляется брат Джакомо Дзанетто (мужской вариант материнского имени) со своей дочерью Гильельминой. Одно слово «племянница» действует безотказно — Джакомо воспылал заранее:

> «При этом известии я положил себе любить свою племянницу; необычайным и забавным показалось мне, что пружиной сего любовного влечения явилось некое мстительное чувство. Предоставляю более сведущим, чем я, знатокам человеческой натуры толковать подобные феномены».

Хорошо нам улыбаться с Фрейдовых высот, но, между прочим, Каза совершил открытие. Любое проявление сексуальности — это своеобразно преломленное желание «отомстить» родственникам. Семьи, вы меня распаляете! Кто это отрицает, тот попросту лжет. Всем и всеми правит тяга к кровосмешению, — всеми, включая того, кто заявляет, что ему плевать на всякие семейные чувства. Взять педофила — это ли не убежденный (даже более, чем надо) семьянин? Семьи, ненавижу вас[52] — ненавижу, потому что обожаю. Только Бог может быть безразличен к семье (к своему Святому семейству). В половом влечении, откуда бы оно ни исходило и какого бы рода ни было (или, тем паче, в навязчивом его подавлении), содержится намек на семейность, на тесную биологическую близость.

Итак, рядом с Казой две девочки (тринадцати и девяти лет) — племянница и дочка. Они берут уроки рисования: рисуют скульптуры — Аполлона Бельведерского, Антиноя, Геракла, копируют «Венеру» Тициана («лежащую и держащую руку там же, где, как я видел, держали ее сами девочки»).

И правда видел, когда глядел на них, спящих в постели:

> «У обеих невинных малюток одна рука была вытянута вдоль живота и слегка изогнута, так что кисть покоилась на юном лоне с едва пробившимися волосками. Средний палец, также загнутый, застыл на почти неразличимом круглом бугорке. То был единственный в жизни раз, когда я проявил истинную стойкость, и был этим горд. Сладкий ужас коснулся моей души. Никогда ранее не испытанное чувство заставило меня прикрыть наготу спящих, руки мои дрожали».

Мариучче, которая показала ему это зрелище, «недостало ума, чтобы постичь значительность сего мгновения». «Девочки могли бы умереть от стыда, проснись они в тот миг, когда я любовался их прелестным положением. От такой смерти спасло бы их лишь полнейшее неведение, какового я не мог в них предполагать».

Никакого коварства. Никакого посягательства на целомудрие, на «безмятежность» сна и эротических упражнений ближнего. Но в постели не всегда спят, и игры быстро доходят до «поцелуев без счета». Каза сходится с Гильельминой на глазах у Джакомины, а та просит, чтобы он и с ней проделал то же самое (что было бы не слишком благоразумно, если учесть ее возраст). Что же до старшей, то Каза в восторге: «Мне хотелось поблагодарить брата за то, что он произвел на свет такой перл для утешения моей души».

Финал сюрреалистический: все решают сыграть в лотерею. Маленькая Джакомина наугад произносит: «двадцать семь». Каза разыгрывает все комбинации с числом 27, выигрывает и, как обещал, везет Мариуччу, Гильельмину и Джакомину на Страстную неделю в Рим (они отправляются туда из Фраскати).

Дальше — больше. Каза давно собирался сочинить оду о Божественном искуплении, но все не было вдохновения. И вдруг оно нахлынуло. В Великий четверг он декламирует свою оду. Рыдает сам и вызывает слезы у всех академиков[53]. «Горазды вы ломать комедию!» — шепчет ему на ухо Бернис. Он же, удивленный, возражает: все было «по правде». Кардинал озадаченно глядит на него.

Чем плохо вот такое умозаключение: «Порок и преступление

— не одно и то же, ибо, будучи порочным, можно не быть преступным. Таким и был я в течение всей своей жизни; осмелюсь даже сказать, что нередко, предаваясь пороку, я бывал добродетельным».

Иначе говоря (мысль возмутительная!), примесь добродетели делает порок еще слаще.

* * *

«Если бы в 1783 году, когда я покидал Венецию, Господь направил меня в Рим, Неаполь, на Сицилию или в Парму, то старость моя, вероятнее всего, была бы отрадной… Ныне же, на семьдесят третьем году жизни, мне надобно лишь одно: спокойное житье вдали от всех, кто мог бы вообразить, будто имеет власть над моею нравственной свободой, ибо подобная иллюзия непременно повлекла бы за собою своего рода тиранию».

Бог Казы — цыган. Он знает, что делает, когда запирает этого искателя приключений в библиотеке замка близ Праги. Надо заставить непоседу писать мемуары. Бог — это Время. Предугадать, что оно готовит, невозможно.

В сорок шесть лет Джакомо ощущает себя развалиной. И находит нужным позаботиться о «достойном занятии в старости». По его словам, он «целиком отдается научным трудам». Во Флоренции перевод «Илиады» отнимает у него от часа до двух часов в день. Он читает, пишет. Но его преследует дурная репутация, и вот он изгнан из Флоренции.

> «Эрцгерцог только делал вид, будто любит словесность… Сей вельможа не утруждал себя чтением и высочайшей поэзии предпочитал низкую прозу. Воистину любил он женщин и деньги».

Портрет нормального мужчины.

Напротив, в Болонье «все тонко чувствуют литературу… и хоть Инквизиция делает свое дело, ее нетрудно обойти».

Именно там Каза издает свою брошюру «Бестолочь». На горизонте снова появляется кошмарная Нина, якобы беременная от своего каталонского генерал-капитана. Творятся какие-то темные дела, связанные не то с торговлей детьми, не то с их убийством; разгневан сам архиепископ, но уж к таким махинациям Каза точно не причастен (он — скорее пострадавшая сторона). За ним увивается куртизанка с лакомым прозвищем Вишолетта (Вишенка), но он не поддается. Теперь он знает: научиться можно лишь на собственном «жестоком опыте». Советы

ничего не дают:

> «Человек есть существо, вразумить которое может только жестокий опыт. Вследствие сего закона в мире всегда будут царить бестолковщина и невежество, ибо ученые составляют в нем не более одной сотой доли».

Сотой? Сразу видно: Каза — оптимист.

* * *

Путь Казы усеян библиотеками. Вот еще одна — библиотека графа Моски (привет от Стендаля) в Пезаро. В библиотеке конечно же есть Библия, и действительно, его вскоре ждет библейская встреча.

Время от времени Каза вспоминает, что у него есть некий дух-покровитель, чей голос он слышит внутри себя. «Демон», как у Сократа. Этот голос чаще от чего-нибудь его отговаривает, чем что-нибудь подсказывает. Чаще говорит: не делай этого! — чем: делай то-то и то-то. Но однажды, когда Каза спешит в Триест, чтобы очутиться поближе к Венеции, внутренний голос вдруг побуждает его ехать в Анкону. Почему? Разумного объяснения нет. Ну да ладно, едем в Анкону.

По дороге возница просит его взять с собой в карету еврея, который тоже направляется в Анкону. Сначала Каза не согласился: не нужен ему в карете никакой спутник, «тем паче еврей». Но потом передумал (причина — тот же голос).

> «На другой день, сидя в карете, еврей, вполне приглядный на вид, спросил меня, отчего я не люблю его сородичей.
>
> — Оттого, — отвечал я, — что ваша религия велит вам относиться к нам как к врагам. Вы считаете своим долгом обманывать нас. Не признаете нас своими братьями. Когда же мы, имея нужду в деньгах, просим у вас в долг, вы назначаете немыслимо высокие проценты. Одним словом, вы нас ненавидите».

Еврей говорит, что Каза заблуждается, и приглашает его пойти и убедиться самому в том, что евреи даже возносят молитвы за христиан, и в первую очередь за Папу.

> «Тут я рассмеялся, ибо то была правда, но возразил ему, что важны молитвы, не устами, а всем сердцем

произносимые, и пригрозил выбросить из кареты, ежели он не признает, что евреи не стали бы молиться за христиан, обладай они властью в тех краях, где живут; засим же, к вящему его удивлению, зачитал на еврейском языке те места из Ветхого Завета, где вменяется им в обязанность при всяком удобном случае причинять зло всем неиудеям, каковых проклинают они в своих молитвах. Бедолага смолчал и более не вымолвил ни слова».

Как нетрудно догадаться, между спутниками завязалась дружеская беседа.

Казанова говорит «на еврейском языке»? Для каббалиста это не диво.

Предубежден ли он против евреев? Он притворяется, что да.

Любознательный Каза приглашает иудея разделить с ним обед. Но тот, разумеется, ест свою, особую пищу.

> «Из суеверия он пил только воду, пояснив, что не может знать точно, вполне ли чисто вино. Ближе к вечеру, прежде чем выйти из кареты, он спросил, не хочу ли я остановиться у него и удовольствоваться дозволенной Богом пищей, причем посулил накормить меня вкуснее и лучше, а взять дешевле, чем на постоялом дворе, да еще предоставить мне хорошую комнату с видом на море.
>
> — Так вы принимаете у себя христиан? — спросил я.
>
> — Никогда. Но на сей раз я хотел бы нарушать правило, дабы вы изменили свое превратное мнение».

Повторяю, Казанова — мастер композиции. И в литературе, и в жизни. Он хочет показать, что жизнь его разворачивалась так, как если бы следовала написанному сценарию. Анконское «ответвление сюжета» имело глубокий смысл:

> «Итак, я решил не упустить редкостной возможности и остановиться у еврея. Буде же что-либо придется мне там не по нраву, на другой же день и съехать. Жена и дети встретили главу семейства с одушевлением, они дожидались его для субботних торжеств. В сей день, посвященный Господу, всякая работа запрещена; праздничный лад отрадно являлся в лицах и нарядах домочадцев, а также в убранстве всего дома. Меня приняли как брата, и я постарался отозваться столь же душевно…»

Удивительный для европейской литературы (особенно для современника века Просвещения) пассаж. Каза называет хозяина дома Мардохеем, скорее всего намекая на Мардохея из библейской Книги Есфири. Так что читатель уже ждет появления на сцене хорошенькой дочки. И вот она, извольте. Ей восемнадцать лет, ее имя Лия.

Когда-то в Турине он имел дело с другой Лией, тоже еврейкой. В тот раз ему пришлось вести долгие переговоры, прибегая к помощи наемной кареты, верховых прогулок, решающим же аргументом стал дорогой перстень. Не любовь, а сделка, гордиться особенно нечем. Но здесь, в Анконе, все совсем иначе. Казе нравится жить в этом доме, он даже посещает синагогу. Очень скоро он расставляет силки для уловления новой Лии, которая по утрам приносит ему в комнату шоколад, но она не идет в ловушку и дерзко обороняется. Похоже, Джакомо наконец-то встретил стоящий объект и был этим весьма удивлен (даже забыл о своей обычной спешке).

Лия позволяет нашему растлителю немножко поморочить ей голову. Он раскладывает перед ней свою коллекцию эротических картинок, включая ту, где представлена «лежащая навзничь обнаженная женщина, которая предается рукоблудию» (мы помним, что в этом месте профессор Лафорг поработал ножницами и заменил «рукоблудие» на «самообольщение»). И что же? Вместо того, чтоб испугаться и покраснеть, как ожидал Каза, Лия говорит ему, что «все девушки поступают так, пока не выйдут замуж». Она охотно рассматривает вместе с ним порнографические эстампы к сонетам Аретино (порнографические, но превосходные), но не допускает, чтобы он давал волю рукам и тем более демонстрировал органическое проявление своего возбужденного состояния. Он должен был крепко «держать эстамп». «Она не желала видеть что-либо живьем», — шутит Каза.

Словом, Лия сама дает ему урок.

> «Она рассуждала об этом предмете много толковее, чем Гедвига».

Юная еврейка Лия даст сто очков вперед «богослов-девице» из Женевы. В плотских познаниях со всей очевидностью проявляется превосходство невыхолощенной Библии, превосходство синагоги над церковью, оригинала над пастеризованным переводом. Лия все *знает*. Как и следовало предполагать.

Как-то ночью Каза застает Лию с молодым парнем. Он подглядывает за ними в замочную скважину, они же ни о чем не

догадываются. Лия овладевает наукой на практике: она испытывает на пару с любовником все те позы, что видела у Аретино, и проделывает самые сложные фокусы (например, прием «прямого дерева», при котором она, действуя, «как искусная лесбиянка», языком, доводит партнера до экстаза). Наш либертин задыхается за дверью.

На следующий день, имея на руках сильный козырь, он пытается шантажировать Лию. Либо она ему отдастся, либо он ее выдаст. Однако девушка спокойно отвечает, что считает его не способным на такую низость. Он настаивает, и тогда она высказывается с полной ясностью: «Я не люблю вас».

Задетый за живое, наш профессионал перестает замечать ее. Верная тактика. Лия рассказывает ему, что ее дружок-христианин — «нищий распутник», что она в него влюблена, но он не отвечает ей взаимностью и посещает ее *за плату*. Теперь же, уверяет она, она любит Казу. Но он тверд в своем пренебрежении (каждому свой черед). Чем больше пытается она разжечь его, тем сильнее в нем желание ее унизить.

Наконец однажды ночью она забирается к нему в постель и силой принуждает к соитию. («Я был глупцом, она же куда лучше меня знала человеческую натуру».) Она просит его лишить ее невинности (так говорится). Каза поражен ее «необычайной чувствительностью»:

> «Прекрасное лицо Лии исказила сладостная боль, и я почувствовал, как в порыве первого наслаждения все существо ее затрепетало, изнемогая от блаженства… До трех часов пополуночи не выпускал я Лию из объятий, она же в благодарность приняла в свою нежную длань излияния моей растаявшей души».

Стоит неблагоприятная для плавания погода. Пожалуй, Казе стоит задержаться еще на месяцок. Но что думает о странном квартиранте Мардохей?

> «Еврей, как мне всегда казалось, знал, что дочь его расточает мне свои милости. На сей предмет евреи довольно покладисты, ибо знают, что сын, которого может зачать от нас женщина их племени, будет евреем, и потому полагают себя в выигрыше и не препятствуют нам… Мы проводили вместе все ночи, даже и те, когда, согласно еврейскому закону, женщине под страхом отлучения запрещено предаваться любви».

Да Казанове, выходит, известны заповеди, изложенные в

пятнадцатой главе Левита! Конечно, от него можно ожидать чего угодно, но все же…

Это последняя любовная история, вернее, последняя история счастливой любви, рассказанная шевалье де Сейнгальтом в «Истории моей жизни». Его лебединая песнь. Последняя, не случайно положенная на полотно краска.

* * *

В Триесте Каза не собирается задерживаться: он ждет помилования от венецианской инквизиции, на которую скоро сам будет работать. А тем временем пишет «Историю смуты в Польше». В самом конце века, издали наблюдая за потрясениями, которые он предвидел еще давно, Казанова будет задним числом гордиться собой. В Польше, Франции, Венеции все полыхало. Он почуял шаги новой эпохи. Венецианский консул в Триесте весьма к нему расположен и даже поручает ему кое-какие конфиденциальные дела, связанные с Австрией. И все же время в Триесте тянется бесконечно долго (то же, впрочем, будет и в близкой к упадку Венеции).

Каза снова встречает Ирен, актрису, которую «любил в Милане и покинул в Генуе». Она устраивает у себя запрещенные азартные игры. Причем плутует, «передергивает карты» — словом, «обчищает других игроков». Каза замечает это и предупреждает ее о том, какие беды могут с ней приключиться, если она будет продолжать в том же духе. На счастье Ирен, у нее есть миленькая девятилетняя дочка, которую она научила делать приятное мужчинам. Каза рад воспользоваться ее услугами (ай-ай-ай!), равно как некий барон Питони, который возьмет Ирен под свое покровительство. Дон Джакомо с ней еще увидится:

> «Три года спустя я свиделся с нею в Падуе и там завел с ее дочерью дружбу более нежную».

Все, конец.

На этом рукопись обрывается.

Последнее слово «Истории моей жизни» — о нежности. Продолжать рассказ Казанова не смог или не захотел. Подкатывал шестой десяток, может быть, он почувствовал, что *с него довольно.*

Описание прервано как раз накануне великой новости. Государственная инквизиция Венеции наконец присылает ему официальное разрешение вернуться в родной город. Вот как описывает это событие консул Марко ди Монти,

присутствовавший при том, как Казанова вскрывал пакет:

> «Он прочел и перечел бумагу, покрыл ее поцелуями и, после краткого сосредоточенного молчания, разразился рыданиями».

Сам же Каза в «Очерке моей жизни» пишет:

> «Утомившись кружить по Европе, решился я испросить помилования у венецианских государственных инквизиторов. В рассуждении этого обосновался я в Триесте и через два года помилование получил. То было 14 сентября 1774 года. Въезд мой в Венецию по прошествии девятнадцати лет доставил мне наслаждение и стал прекраснейшей минутою моей жизни»*.

В «Истории моей жизни» об этой «прекраснейшей минуте» ничего не говорится. Это гениальный ход. Нам предоставлено самим судить о ней (коли есть охота) в меру своего воображения. Дальше — тишина.

* * *

Теперь впору написать еще одну книгу, да такую, в которой хватило бы материала на полсотни романов.

Что произошло между 1774-м и 1785-м годом, когда Каза поступает библиотекарем в Дукс, и далее, до 1789-го, когда он берется за «Историю моей жизни»?

Масса событий (я буду следовать датировке, установленной Франсисом Лакассеном в очерке «Казанова после мемуаров», который помещен в третьем томе «Истории моей жизни» издательства «Робер Лаффон»).

Это хроника неудач.

Литературный труд? Не идет.

Любовь? В Венеции Каза живет с портнихой Франческой Бускини. Сохранились ее трогательные письма, написанные на венецианском диалекте. Новая опала Казы разлучает ее с ним, новые скитания уводят его все дальше. Франческа будет писать ему даже тогда, когда он осядет в Богемии. «Желаю вам быть радостным и не поддаваться унынию». «Желаю вам веселья, веселитесь за себя и за меня».

Тайные поручения в Триесте и Анконе? Деятельность в качестве «доверенного лица», то бишь осведомителя инквизиции?

Заплесневеть можно от скуки.

Каза принимается в одиночку издавать ежемесячный журнал. И даже выступает театральным антрепренером (затеяв для этого еженедельник «Вестник Талии»).

Одно время он состоит секретарем при не слишком чистоплотном венецианском дипломате и не сходится с ним в денежных вопросах. Каза понимает, что в Венеции для него нет настоящего дела. Смириться или устроить скандал? Он выбирает скандал.

Публикует памфлет «Ни любви, ни женщин, или Очищенные конюшни», который ссорит его со всей «номенклатурой». Назвавшись Гераклом, он переоценил свои силы — время рыцарских подвигов прошло.

В 1783-м изгой перебирается в Триест. Из письма к Морозини: «Мне пятьдесят восемь лет, странствовать пешком уже поздно — на дворе зима. Опять путешествовать в поисках удачи? Смешно и подумать, особенно как взглянешь в зеркало».

Иной раз у него заходит ум за разум. Он пророчит гибель Венеции от землетрясения и, к своему удовольствию, сеет легкую панику.

16 июня 1783 года он тайно приезжает в город, чтобы уладить дела, это его последний день в Венецианской республике.

Не найдется ли где-нибудь меценат? Каза колесит по дорогам: Тренто, Инсбрук, Аугсбург, Франкфурт, Кельн, Экс-ла-Шапель. Безуспешно.

Гаага, Амстердам, Антверпен, Брюссель. Нигде ничего. Ни лотерея, ни другие его математические затеи никого не прельщают.

В Париже он живет у брата Франческо, художника, в его казенной квартире при Лувре. Казанова в Лувре — расскажи он об этом, то-то получился бы роман!

Все его проекты оказываются неосуществимыми: издание газеты, экспедиция на Мадагаскар, сооружение канала от Нарбонны до Байонны. Какая богатая фантазия, сударь! Успокойтесь.

Чем он занимается целую неделю в Фонтенбло? Бог весть.

Зато нам точно известно, что 23 ноября 1783 года он присутствует на заседании Академии наук, посвященном недавнему полету монгольфьера. Джакомо Казанова сидит рядом с Бенджамином Франклином и Кондорсе и слушает их беседу. Но знают ли они, кто он такой? Нет.

Несмотря на покровительство, которое оказывает ему в Вене князь Кауниц, он два месяца скитается между Дрезденом, Берлином, Брно (Брюнном) и Прагой. И не находит себе никакого

применения, никакой работы.

В Вене он встречается с Да Понте и поступает на службу к венецианскому посланнику Фоскарини, в его обязанности входит «вести переписку». Немножко тайной дипломатии — должно быть, это у Казы получалось неплохо. За столом у Фоскарини он и знакомится с графом Вальдштейном, тоже франкмасоном. И поражает его своими оккультными познаниями. На горизонте замаячил замок Дукс (1784 год).

Приятно узнать, что в том же 1784 году Каза весело погулял на карнавале «в обществе двух дам». А в мае как ни в чем не бывало едет на воды в Баден.

Он пишет эссе о торговых распрях между Голландией и Венецианской республикой. В апреле же 1785 года говорит своему приятелю Максу Ламбергу, что написал уже две трети фантастического романа «Икозамерон» на итальянском языке (позднее он перепишет его по-французски). Странный человек!

В это самое время выходит из игры последняя верная карта Казановы. Умирает Фоскарини, переписки больше не будет. Дон Джакомо порывается уйти в монастырь Айнзидельн, расположенный в Швейцарии. Игра или монастырь — вот здравая философия.

Последняя тщетная попытка устроиться в Берлине.

В сентябре в курортном городе Теплице он принимает предложение графа Вальдштейна стать библиотекарем в замке Дукс, то есть взять на свое попечение сорок тысяч книг и рукописей (которыми он занимался не слишком прилежно и по понятной причине: поскольку от девяти до тринадцати часов в день уходило у него на составление «Истории моей жизни»).

Октябрьской ночью 1787 года в Прагу к Да Понте и Моцарту прискакал всадник — Казанова. Это было незадолго до мировой премьеры новой оперы. Событие поистине сюрреалистическое, достойное не просто описания, а воспевания.

Устав пересказывать свой знаменитый подвиг, Каза издает в 1788 году книжку «История моего побега из тюрьмы Венецианской республики, что прозывается Пьомби». Это эмбрион, из которого вырастет вся громада мемуаров, но в то время Каза возлагал большие надежды на объемистый и довольно скучный роман «Икозамерон». Увы, книга не имела ни малейшего успеха. Вальдштейн делает красивый жест — покупает все рукописи Казановы.

1789 — решающий год. Каза болен, врач-ирландец О'Рейли советует ему взяться за описание своей жизни, чтобы разогнать черные мысли. Забавно, что именно теперь Каза объявляет о том, что он нашел решение математической задачи,

сформулированной еще в древности: «построить куб, объем которого вдвое превышает объем другого, первоначально заданного куба». Он пишет и публикует в Дрездене три брошюры на эту тему. Но по-настоящему его занимает теперь иное построение, его философский камень — это его «История». Ни фантастический роман, ни строгие математические выкладки не отвечали заданным условиям. Перед ним открывается новое измерение: он видит свою жизнь как воспроизведение некоего предначертания, записанного тайным шифром.

Из сохранившегося письма от 2 марта 1791 года мы знаем, что к этому дню, несмотря на распри с управляющим и слугами замка (Казанова казался им сумасшедшим), он уже закончил, по собственной оценке, две трети рукописи. Одновременно он посвящает много времени занятиям метафизикой. Кроме того, пишет «Письмо Робеспьеру» (на ста двадцати страницах), оригинал которого не был обнаружен в его бумагах. Украдено? И где ж оно?

Граф Вальдштейн надолго исчез. Он послан в Париж с тайной миссией организовать побег Людовика XVI и его семьи. Все упирается в лошадей. Потерпев неудачу, он заезжает в Лондон, а потом возвращается в Дукс и увольняет управляющего, который так притеснял Казу (а тому уж мерещился в действиях злобной челяди «якобинский заговор»).

Год 1794-й. Казанова переписывает «Историю» заново, что не помешало ему сочинить на латыни надгробное слово в память своей усопшей кошки Мелапиги, трех лет от роду. 11 сентября 1795 года семидесятилетний Казанова откалывает невероятный фортель: он вдруг покидает Дукс и отправляется через Тюбинген (где мог бы встретиться с Гегелем, Гёльдерлином и Шеллингом) в Веймар, где посещает Гёте (кажется, визит оказался не очень удачным), а затем в Берлин, куда добирается без гроша в кармане. В конце декабря Вальдштейн увозит его обратно. Это путешествие — едва ли не самый загадочный эпизод в жизни нашего героя.

Последнее опубликованное при жизни произведение Казановы — «Письмо Леонарду Снетлаге» (недавно выпущенное в свет издательством «Аллиа» под диковинным, красивым названием, позаимствованным из авторского посвящения графу Вальдштейну: «Мои соседи потомки…»). Это мысли о языковых новшествах, порожденных Французской революцией.

Вот, например, слово «равенство»:

> «Невзирая на удручающую нищету, народ, должно быть, что ни час, повторяет его с усмешкой. Ему,

видящему везде и всюду вопиющее неравенство, должно быть, любопытно знать, что сие слово означает».

«Равенство хуже любого неравенства», — считает Каза. Ему, как современнику бурных событий, виднее.

С таким же сарказмом говорит он о слове «якобинец». Тут у него есть личный повод для обиды: его ведь зовут Жак (вот почему досадно читать надпись на могильной плите в Духцове, где он именуется по-немецки Якобом).

27 ноября 1797 года он просит графа Вальдштейна отпустить его «будущей весной» на месяц в Венецию. Венеция только что пала под натиском Бонапарта. Казанова получает оттуда письма и хочет собственными глазами посмотреть, что к чему (предсказанное им землетрясение все же произошло).

17 ноября он пишет для Сесили де Роггендорф, своей молодой корреспондентки, «Очерк моей жизни».

И наконец год 1798: из-за мучительной болезни мочевого пузыря Каза прекращает работу над «Историей».

12 апреля — он пишет последнее письмо Сесили.

К маю ему становится совсем плохо.

27 мая из Дрездена приезжает ухаживать за ним племянник Карло Анджолини. Он увезет с собой рукопись, которую позднее, в 1821 году, его сын продаст за двести талеров немецкому издателю Брокгаузу.

4 июня Каза умирает в возрасте семидесяти трех лет. Начинается его посмертное существование.

Умер он, сидя в кресле. Розовом. Оно и сегодня стоит в его покоях в Духцовском замке. Сзади на спинке прикреплена памятная медная табличка. Я прикоснулся к этому креслу.

> …Трепетная рябь зеленых волн широких,
> Спокойные луга, покой морщин глубоких
> На трудовом челе алхимиков седых[54].

Или еще:

> «Я ученый в сумрачном кресле. Ветки и струи дождя хлещут в окна библиотеки»[55].

Казанова встал с сумрачного кресла, на котором сидел и писал, и пересел в другое, розовое, чтобы на нем умереть. Все у него наоборот.

Я только что процитировал сонет «Гласные» и привел фразу из «Озарений» Рембо. В Триесте довольно долго прожил еще один

писатель, он работал в этом городе над своим монументальным «Улиссом» и поведал о пережитом там любовном приключении с молодой красавицей-еврейкой по имени Амалия, которой он давал уроки английского. Свою новеллу он озаглавил «Джакомо Джойс». На фотографии того времени изображен Джеймс Джойс, одетый этаким ирландским денди, с гитарой в руках. Джойс слова в простоте не скажет. Новелла заканчивается так: «Love me, love my umbrella»[56]. Нет нужды переводить эту хрестоматийную фразу, в которой все стоит как надо.

* * *

Один итальянский эссеист, описавший последние годы жизни Казановы, озаглавил свою книгу «Сумерки Казановы».

Вспоминается Ницше и его «Сумерки богов».

Если Казанова — бог, он и в самом деле идет к своему безвозвратному сумраку. Что ж… Кстати, вот уже на протяжении двух веков пропаганда, которая то млеет от дурацкого восторга, то насмешничает, а чаще всего злобствует, стремится исказить память о Казанове, иначе говоря исказить *то, что он написал.*

В особенности фальсификаторам не нравится, что он сам описал свою жизнь и что от книги нельзя оторваться.

Я хотел рассказать о совсем другом Казанове. О том, кто и сегодня, затесавшись в толпу японских туристов, прогуливается в Венеции у Дворца дожей. Никто его не замечает. Двести лет спустя после смерти он выглядит отменно. Твердая поступь, ясный взгляд, как тогда, когда ему было тридцать, перед самым его арестом. Это он, под другим именем, принимает нынче днем под крышей Пьомби французскую телевизионную группу, которая, отправившись на поиски Казы, добралась аж до самой Чехословакии. Это ему служба безопасности дворца не позволяет подняться на крышу, чтобы показать то самое место, откуда ему удалось бежать. И это он вместо меня дает интервью, заснятое в его камере (я в этот день, 4 июня 1998 года, сильно простудился, несмотря на хорошую погоду).

Каза проходит мимо посредственных представлений, организованных в честь двухсотлетия со дня его смерти (ни больше ни меньше). Рассеянным взглядом скользит он (такая у него привычка) по косметическим товарам, спонсором которых он якобы является, по ресторанам и кафе, присвоившим себе его имя, по кинотеатрам, в которых показывают очередной фильм о нем, по иллюстрированным журналам, где его используют, чтобы раскрутить того или иного актера. Он лишь на минуту

задерживается у смехотворного памятника, воздвигнутого на площади Святого Марка, — говорят, он изображает его, Казанову. Во время карнавала вокруг скульптуры крутились, позируя фотографам, расфуфыренные модели.

Что вы хотите? Спектакль.

Все это не представляет ни малейшего интереса, но эти клише служат маскировкой. Никому не вздумается проверять, что произойдет сегодня вечером в домике свиданий, который Каза снял на Мурано, на Торчелло или, еще лучше, на маленьком островке, названия которого никто не знает, подальше в лагуне.

Он берет лодку. Увозит с собой двух японок, или двух немок, или трех итальянок, день на день не приходится. Иногда компанию ему составляет испанка, англичанка, гречанка, а может, и француженка. Американка редко. Норвежка, шведка, русская? Почему бы нет? Африканка? Еще бы. Арабка, израильтянка? Охотно. Китаянка? Никаких проблем. С ним бывают также аргентинки, мексиканки, бразильянки, жительницы Панамы, Венесуэлы, чилийки, уругвайки, парагвайки, а то вдруг австралийки. Вообще легко представить себе, как Каза действует во всех крупных городах мира и даже в *деревнях*. Он замечательный антитеррорист. Его засекли в Нью-Йорке, в Париже, во Франкфурте, в Женеве, в Лондоне, в Мадриде, в Барселоне, в Тегеране, в Токио, в Мельбурне, в Праге (конечно же), в Шанхае, в Пекине, в Иерусалиме, в Москве. Говорят, сейчас он где-то в окрестностях не то Барселоны, не то Неаполя. Он берет разбег, перемахивает через два, а то и через четыре столетия, и всюду и всегда он wanted[57], но с помощью своего алхимического порошка он, когда ему вздумается, меняет обличье, становится неузнаваемым. Никаких отпечатков пальцев, никаких данных о его ДНК. Он не пользуется допингом, не употребляет наркотиков, не якшается с уголовным миром, судимостей у него нет. Полицейские, которые гонятся по его следу, вскоре отступаются и вешают лапшу на уши начальству. Им быстро поручают другие дела.

Да, Каза возвращается издалека.

Книгу о Казанове следовало назвать «Заря Казановы». Но тсс! — время еще не настало. Наоборот, мы как раз накануне очередного витка репрессий — ну и что, подумаешь, и не такое видали, это дело сезонное.

Так что же, Каза подверг себя клонированию? Конечно. Время от времени тайком, не скажу где, *они* собираются. Никакой регистрации, никаких записей, у каждого свой паспорт, и — чао! В их круг пытаются внедрить шпионов, но сами понимаете! Лучшие из лазутчиц были перевербованы, взять хотя бы

последнюю по времени. Она хотела снова выйти на связь из Вашингтона, вернуться в Венецию, ФБР ее прикрывало — но никаких следов Казановы, несмотря на разосланные объявления.

Вечером 4 июня 1998 года в тихом уголке Венеции я открыл тетрадь и написал заглавие: «Казанова Великолепный». Я уже много лет не расставался с «Историей моей жизни», с заметками. Затем последовало остальное. Может быть, небесполезно в конце XX века опубликовать это на французском языке в Париже.

notes

Примечания

1

А. Рембо. Пора в аду. Перевод Ю. Стефанова. *(Здесь и далее — прим. перев.)*.

2

Подпись *(франц.)*.

3

Новый дом *(итал.)*.

4

Вот он, список, который я составил *(итал.)*.

5

Списком *(итал.)*.

6

Вилла «Бертрамка» принадлежала знаменитой оперной певице Йозефине Душковой, и Моцарт подолгу гостил там в 1787 и 1791 гг. Ныне превращена в музей Моцарта и Душковых.

7

Как гласит легенда, дом, где жила в Назарете Дева Мария с младенцем Иисусом, был в 1291 г. перенесен ангелами в Италию, в городок под названием Лорето, ставший местом паломничества. В XVI–XVII вв. копии Лоретского Святого Дома строились во многих городах Европы, в том числе и в Праге.

8

Покайся! Нет! Да! Да! Нет! Нет! *(итал.)*

9

Клод Ланцман (род. 1925) — французский кинематографист, снявший знаменитый документальный фильм «Шоа» (1985).

10

Музей восковых фигур в Париже.

11

Faul — негодный, ленивый *(нем.)*.

12

Богом садов в римскую эпоху почитался Приап.

13

Имеется в виду персонаж «Истории моей жизни», турок по имени Исмаил.

14

Здесь и далее цитаты, помеченные знаком *, даются в переводе И. Стаф по изданию: Казанова. История моей жизни. — М., 1991.

15

По-французски инициалы Джакомо (Жака) Казановы (Jacques Casanova) и Иисуса Христа (Jésus-Christ) совпадают.

16

Намек на поэму С. Малларме «Бросок игральных костей никогда не упразднит случая».

17

Возможна связь этого имени с книгой Н. Монфокона де Виллара «Граф Габалис» (1670), где говорится об общении с духами. Потом оно стало розенкрейцерским именем Казановы — Парализе Галтинард (вторая часть его — анаграмма Сейнгальта).

18

Господин Оме — персонаж романа Г. Флобера «Госпожа Бовари», олицетворение буржуазной ограниченности, пошлости и ханжества.

19

Цитата из стихотворения Бодлера «Приглашение к путешествию».

20

Олений парк — так называли особняк в Версале, где Людовик XV принимал своих многочисленных фавориток.

21

Казанова рассказывает о том, как пораженный красотой тринадцатилетней Марии-Луизы (он называет ее Еленой) О'Морфи, заказал ее портрет художнику (комментаторы называют Буше), увидев который, король взял ее в любовницы.

22

Жестокое подавление 17 декабря 1989 г. демонстрации бастующих в Тимишоаре стало детонатором демократической революции в Румынии.

23

По-итальянски первые буквы имени и фамилии Катарины Капретты — С.С.

24

По традиции при вступлении в должность дож совершает церемонию бракосочетания с морем: выходит в море на особом корабле и бросает в воду перстень.

25

Пьер Бурдьё (1930–2002) — французский социолог, автор многих трудов, в том числе работ по социологии воспитания и преподавания.

26

Небольшая улица в Венеции.

27

От *франц.* Égalité — равенство.

28

Pro domo sua — в свою защиту *(лат.)*.

29

Намек на знаменитую аферу, спланированную накануне Великой французской революции графом Калиостро и графиней де Ла Мотт, по приобретению через подставных лиц ожерелья ценой 1 600 000 ливров якобы по заказу Марии-Антуанетты, которая ничего об этом не знала. Мошенничество раскрылось, но громкий процесс косвенно скомпрометировал королевскую семью.

30

Тереза Имер (1723–1797) — актриса, знаменитая авантюристка, закончившая свои дни в долговой тюрьме. Когда-то в Венеции она была возлюбленной юного Казановы.

31

От *франц.* la perle — жемчужина.

32

Вдова Дюбуа поступила в услужение к Казанове, сопровождала его в путешествии по Швейцарии и стала его любовницей. Дворецкий французского посла в Швейцарии сделал ей предложение, которое она, с одобрения Казановы, приняла.

33

Лаура, которой посвящены сонеты Петрарки, была женой авиньонского дворянина по имени Уго де Сад, которого маркиз де Сад числил среди своих предков.

34

Петрарка. Сонет CCLXXXII.

35

Лошадь *(лат.)*.

36

Шевалье — по-французски «рыцарь», а также «всадник».

37

От *франц.* lascar — хитрюга, шельма.

38

Полное название: «Китайский шпион, или Тайный служитель китайского двора, посланный обозреть нынешнее состояние Европы».

39

Намек на знаменитый стих из драмы В. Гюго «Эрнани»: «О, как прекрасен ты, лев благородный мой!» (Действие III, явл. 4. Перевод Вс. Рождественского).

Казанова выкупил и отдал Шаприйон когда-то выданные ею одному купцу долговые расписки на крупную сумму.

41

Покайся! Покайся! *(итал.)*

42

Имя Эгард созвучно французскому глаголу garder — хранить.

43

Одна из лондонских любовниц Казановы.

44

Луи-Доминик Бургиньон по прозвищу Картуш — знаменитый разбойник, главарь шайки, наводивший ужас на Париж и его предместья в начале XVIII в.

45

Перевод В. Микушевича.

46

Вся женщина — это ее матка *(лат.)*.

47

Это сочинение было опубликовано в 1772 г., когда Казанова жил в Триесте. Ликантроп — по-гречески человек-волк, человек, воображающий себя оборотнем.

48

Тиресий — в греческой мифологии фиванский прорицатель, на семь лет превращенный в женщину. Зевс и Гера, поспорившие, мужчина или женщина получает большее наслаждение при половом сношении, призвали его рассудить их. Тиресий ответил, что женщина наслаждается в девять раз больше.

49

«Лола из Валенсии» — знаменитая картина Эдуара Мане. Валенсианскую героиню Казановы зовут Нина Бергонци.

50

Маркиз д’ Аржанс, Жан Батист де Буайе (1704–1771) — французский писатель, камергер при дворе Фридриха II, директор отделения изящной словесности Берлинской академии наук (1744–1769).

51

Данте. «Рай», XXXI, I. Перевод М. Лозинского.

52

Отсылка к часто цитируемой фразе из книги А. Жида «Яства земные»: «Семьи, я вас ненавижу».

53

В Риме Казанову принимают в две литературные академии.

Перевод М. Кудинова.

55

Перевод Ю. Стефанова.

Любишь меня, люби мой зонтик *(англ)*.

Разыскивается *(англ.)*.